



Юзеф Игнаций Крашевский

Красная пара

Są wprawdzie ludzie, co występują tak na scenę świata, na widownię życia, że ich się ogląda całych i nie pozostaje tajemnicą — z tego co oni chcieli i nie chcieli, i nawet w rzeczy nie takimi są, za jakich by uchodzić chcieli. Inni, a do tych należał ś. p. Karol, nie pokazują się w pełni, droższe uczucia zamykają w sobie jak skarby, myślą niż szafują, okrywają się skromno-

Юзеф Крашевский
Красная пара

«Э.РА»

1864

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

Крашевский Ю. И.

Красная пара / Ю. И. Крашевский — «Э.РА», 1864

ISBN 978-5-99062-235-7

Роман «Красная пара» переносит читателя в 1863 год, когда в Варшаве началось восстание против русского правительства. Недовольные политикой Царской Польши, принудительными призывами в армию, отряды повстанцев начали уходить в леса и оказывать вооружённое сопротивление. На фоне этих событий автор запечатлел необычную любовь двух главных героев, для которых на первом месте была любовь к родине.

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-99062-235-7

© Крашевский Ю. И., 1864
© Э.РА, 1864

Содержание

Том 1	6
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Юзеф Игнаций Крашевский
Красная пара
(картинка из современности,
нарисованная с натуры)
Роман

Józef Ignacy Kraszewski

Para czerwona. Obrazek współczesny narysowany z natury

© Бобров АС. 2017

Pani Paulinie Wilkońskiej na znak poważania i szacunku przesyła
B. Bolesławita. Warszawa, d. 29. Listopada 1864

Пани Паулине Вилконской в знак уважения и почтения шлёт
Б. Болеславита

Том 1

В эту благословенную эпоху, между тридцатым и шестидесятым годами, когда российское правительство душило несчастную Польшу, пользуясь беспорядком, беспокойством и бессилием Европы, хозяйничало в ней по-своему, славный генерал Абрамович был одной из тех угнетающих сил, перед которой должны были дрожать самые смелые. Зажиточный литовский обыватель, некогда отважный польский солдат, постепенно опустился он до инструмента тиранического гнёта и служил русским, не спрашивая уже совесть о значении своих поступков. Кабинет Абрамовича в Театральном здании, директором которого и владыкой он был, знают все, кто хоть на мгновение прибывал в Варшаву во время какого-нибудь беспокойства. Достаточно было, чтобы в Европе перевернулся или накренился один из тех хрупких стульчиков, которые называют тронами, тут же увеличивалась бдительность полиции в провинции и Варшаве, а каждый прибывающий получал приглашение появиться в назначенный час у генерала Абрамовича. В десять часов нужно было идти во фраке, задобрить лакеев, а потом ждать в узкой приёмной, пока генерал соблаговолит допить чай с ромом и выйдет красный экзаменовать несчастного пришельца.

Была это только естественная церемония, предназначенная для удержания в строгости, солдатской покорности и уважения власти несчастного народа страны. Генерал принимал личину всеведущего министра полиции, от которого ни одна из тайн человеческого сердца не закрыта, магнетизировал глазами, изучал физиономию и давал почувствовать, что есть господином жизни и смерти.

Действительно, наилегчайшее подозрение могло привести в цитадель, малейшая видимость могла выслать в Сибирь, а в отсутствии обоих любой каприз можно было оплатить тюрьмой, полицейским надзором или высылкой в провинцию.

Во главе почти всех отделов управления стояли такие Абрамовичи, Окуневы, генералы и экс-генералы с неограниченной властью, одной целью и желанием которых было ликвидировать бунтовщический дух. Ликвидировали его также, невзирая на средства, в старых и молодёжи, управляя Королевством по-военному, то есть бесправно, сурово и не объясняясь в деятельности. Муханов приказывал журналистам в недостатке политических новостей писать о морском гаде, объединяя насмешку со скорбью, в школах изучали польскую историю, написанную русскими, в покоях князя-наместника были видны склонённые только спины, но в позолоченных кафтанах.

Есть, однако, Провидение, что бдит над угнетёнными народами, в самой тирании вкладывает оно против неё противоядие; позорное угнетение слабых делает послушные инструменты из подлых, но души, более сильные, закаляет. Оно создаёт отвращение, укрепляет ненависть к плохому, в итоге доведённый до крайности обращается против угнетателей. Эпоха, которая предшествовала сегодняшним часам, интересна для изучения, как её родительница. Едва бы мы не должны быть благодарны, что нас ко сну не укачивали, что разбудили мучением, что раздражали неразумным гнётом.

Во время царствования либерального Александра I мы видели уже тем либерализмом вскруженные самые здоровые головы, Осинский писал оды русским, достойный Сташиц – речи о необходимости мирных отношений с ними, а честный Купринский сочинял героические полонезы на въезд того воскресителя Польши, который в действительности много убил, а ничего не воскресил.

Царствование Николая стоило нам много слёз, но для дела страны было, в действительности, благословением. Александр имел в себе хитрость грека, Николай – дикость монгола, из двух первая была для нас наиболее опасная. Кто знает наш народный характер, испугается скорее мнимой сладости, чем искреннего и жестокого преследования поляков, которые уже

в царствование Александра I готовы были с русскими помириться, при Николае – настроились на яростный смертный бой. Спокойные сны и мечты улетали, революция 1831 года разбудила, давление уже больше уснуть не давало. Молодёжь старались одурачить, осолдатить, зацепить распутством, а выработали в ней мощный дух сопротивления, который, не в состоянии объявиться снаружи, набирался скрытых сил в глубине. Недостаток образования возмещали краденные книги, краденные умы, краденные люди и, разломленная как просфира, сохраняемая как святыня, любовь, любовь к несчастной родине. Основывая эти благородные институты и кадетские корпуса, Николай думал заключить детей в железные милитаристские клубы, на нашей земле выросли они в революционном очаге.

Можно их было сравнить, с позволения, с теми гончарными печами, в которые кладут тысячи на вид одинаковых горшочков, из которых сильнейшие выходят камнем, а слабейшие только черепками. Так было и с молодёжью; кто имел в себе какую-нибудь каплю яда или врождённый недостаток, тот в этой печи испепелялся либо шёл на мелкие кусочки, но что лучше – сформировывалось в великие характеры, не моралью привитые, но те, которые находили инстинкты в антитезе того, что им приказывали. Каждый из колыбели вынес неведение к хищным притеснителям, недоверие ни к ним, ни к тем, что были ими назначены, ни к тому, чему они учили. Всё запрещённое представлялось заманчивым и жадно хватаемым, то, что наказывали, отвратительным.

В поисках принципов, которых им не хватало, молодёжь могла часто ошибаться, бросаясь в антиподы того, что официальная мораль подавала за правду, но в глубине человеческих душ есть врождённое чувство правды, которое к ней ведёт.

В последние годы своей службы генерал Абрамович, сытый страхом, который сеял, почестями, достоинствами, деньгами и театральными восторгами, немного впавший в детство под правлением Гвоздецких, ослабел, и случалось иногда, что при виде поляка болел. Приходили к нему давние военные воспоминания, что удивительней, пытался заслугой своей, как директора театра, стереть память службы обер-полицмейстером. Бывал вежливым и мягким и, как позже пан Марграф объяснял свою роль социализмом нашей революции, так этот оправдывался делом общественного порядка.

Тема эта, впрочем, не была новой, играли из неё разные вариации все наши великие люди, утверждая, что когда Россию победить мы не можем, лучше встать на колени, поцеловать кнут, забыть о прошлом и стать спокойно в шеренги.

В одно из тех утр, когда генерал-директор театра, после чая с ромом и свидания с панной Гвоздецкой, был в каком-то розовом настроении, объявили ему о полковнике З. с сыном. Генерал сначала заколебался, принять ли, потому что был обременён просьбами и не любил общества тех, которых муштровать и ругать не имел права.

– Что же там за полковник З. и чего он может хотеть от меня? – бормотал он под носом, беря понюшку табаку и отталкивая ногой фаворита-пёсика. – Фамилия мне не незнакома; может ли это быть капитан З., с которым мы вместе служили? Да, это, пожалуй, он. Но с сыном? Зачем же там этот сын? Или хотел поступить в театр? Не понимаю, просить, – сказал он служащему.

Через мгновение потом на пороге показался мужчина, несомненно, седой, но с отлично подкрашенными в каштановый цвет волосами, с усиками, подкрученными наверх, во фраке с букетом орденов в петлице, маленький, пухлый, в целом похожий на большой арбуз. На его улыбающейся физиономии, в маленьких глазках и округлых щёчках, словно от скрытой улыбки, видны были довольство самим собой и та уверенность, что весь свет от обладания им должен был чувствовать себя счастливым.

За ним шёл прямой, как струна, несмелый, запуганный, но выложенный, нежный, ладный молодой человек.

При виде Абрамовича, который стоял, приняв выражение застывшей и неподвижной мумии, улыбающийся полковник остановился и, не говоря ни слова, ждал как бы вспышки радости с его стороны. Однако он грубо его разочаровал, так как Абрамович сделал кислую мину, почти испуганную, и ждал официального приветствия, которое ему следовало. Полковник, видно, не глупый человек, догадался, чем это светит, изменил выражение лица, скрыл неудовлетворение от разочарования, которое испытал, и, приняв покорнейшую личину, приблизился, не как к бывшему товарищу по оружию, но как к видному николаевскому сановнику.

– Господин генерал, – сказал он с великим смирением и вынужденной вежливостью, которой хотел заплатить за первую свою неудачную физиономию. – Пусть мне будет разрешено после долгих лет как подчинённому и товарищу по оружию напомнить о себе.

– Да! Я сразу вас припомнил, когда мне фамилию назвали, звали вас в полку картечью?

– Милый Боже! Что же у вас за память, господин генерал! Ей-Богу, столько лет!

– Ну, садитесь же, – сказал генерал холодно, но вежливо.

– Сперва буду иметь счастье господину генералу моего единственного сына представить.

Мальчик низко поклонился.

– Прекрасный мальчик, а почему вы не отдаёте его в войско?

– Ах! Потому что его мать выхолела в неженку, хрупкого здоровья; если бы ему пришлось переносить то, что мы перенесли, дьяволы бы его взяли.

– А что думаете с ним делать?

– Вот именно за тем я привёз его сюда, закончив обучение, чтобы пообтёрся в городе и к гражданской службе приложил руку. Помещу его в Кредитном обществе или куда-нибудь в бюро, а поскольку он должен остаться в городе, я хотел его рекомендовать взглядам и опеке господина генерала.

Генерал посмотрел исподлобья на мальчика, взял понюшку, сперва ничего не отвечал.

– А где он получил образование? – сказал он потом.

– Окончил школу на родине, немного потом путешествовал, – сказал тише полковник.

Последние слова тучей явно заволокли чело Абрамовича. В эти времена, когда хотели китайской стеной отделить Польшу от Европы, когда паспорта были обложены огромным налогом, а выезд молодёжи полностью запрещен, каждый, что вдыхал воздух, не насыщенный московским дёгтем, был уже сразу в сильном подозрении. В их убеждении из заграницы приходило всё плохое, плохие книжки, плохие принципы, плохая несдержанность, плохая цивилизация – всё хорошее и благословенное родилось и текло из России. Юноша, несмотря на свой скромный вид, выдался уже Абрамовичу подозрительным; будучи где-то за границей, он мог прочесть какую-нибудь запрещённую книжку и потерять уважение, которым был почти обязан власти, генерал даже не утаил своей мысли.

– Зачем же вы его высылали за границу? Вы знаете, что эта молодёжь оттуда привозит?

– Но за своего сына я ручаюсь, – живо подхватил полковник, который чуть не упал со стула, желая выразительным движением поддержать своё утверждение, – ручаюсь за моего сына, что не испортился. Он воспитан в добрых принципах, а прежде всего, в уважении правой власти и старших, которые я ему привил, могу им похвалиться.

– Вот именно этого больше всего нашей молодёжи не хватает, – сказал Абрамович, снова доставая золотую табакерку, – пока нас, сударь, за малейшую провинность сильно лупили, всё было хорошо, теперь мир вверх ногами, молодёжь думает только о революциях.

– Ручаюсь за моего сына, господин генерал, воинской честью, что в этом отношении может служить образцом для молодёжи.

– Пусть же стережётся в этом городке, чтобы с уличной чернью не имел сношений, потому что ему тут сразу голову заморочат.

Разговор продолжался ещё какое-то время, деликатно переплетённый воспоминаниями прошлого, которые господин полковник так подбирал, чтобы слишком с настоящим не сталкивались. Абрамович, убедившись, что старый товарищ ничего от него, кроме какой-то идеальной опеки, не желал, наконец, вполне раздобрился, развеселился, на следующий день полковника с сыном на обед к себе пригласил, обещал ему когда-нибудь балетный шедевр и, принимая к сердцу надзор над сыном старого товарища по оружию, объявил ему, что каждые два воскресенья по долгу он должен был появляться у него и бывать на обедах. Полковник был обрадован, его благодарность дошла аж до слёз, с которыми, впрочем, ему не было трудно, потому что сколько бы раз не начинал смеяться, всегда ими обливался.

Съев тот обед у Абрамовича, от которого не привыкший к горячей кухне деревенский желудок позже сильно расстраивался, полковник, уверенный, что обеспечил сыну очень достойного протектора, отъехал на деревню спокойный в совести, а пан Эдвард остался в городе, прикреплённый к канцелярии Кредитного общества, позже милостиво помещённый при бюро Земледельческого общества.

В обоих молодой человек не имел много дел, оставалось ему достаточно времени для познания света, людей и создания себе в городе связей.

Тем, которые читали «Ребёнка Старого города»¹, пан Эдвард уже чужим не является; они знают, с каким благородным порывом пытался он втиснуться на восковые полы, не различая ног, которые по ним ступали.

Эдвард принадлежал к тем молодым людям, которые самыми большими жертвами готовы окупить доступ к так называемым лучшим обществам. Это нам, увы, напоминает очень правдивую историю того молодого человека, которого близкая родственница нашла в Париже, неслыханно выхоленного, но дивно бледного и похудевшего.

После некоторых симптомов, которые не могли уйти от опытного женского глаза, она узнала, что кузен был почти до бесчувствия голодным.

Испуганная, сперва накормив его, начала расспрашивать о причинах его бедности, будущих в таком дивном противоречии с прекрасной внешностью юноши.

– Тётя благодетельница, – сказал прижатый денди, – если бы я не морил себя голодом, за что бы я на сегодняшний бал купил белые перчаточки?

История этих белых перчаток повторялась разными способами не один раз перед нашими глазами. Одни их покупали работой, другие – голодом, иные – унижением, хорошо, если не совестью ещё.

Молодёжь, болеющая панычами, как аристократией, элегантностью, львиностью, хорошим тоном, французской не раз допускала тихие проступки, великие и малые подлости, лишь бы попасть туда, где было избранное общество. Среди этого отбора были действительно редкие и избранные люди, но в целом складывалось из великого разнообразия моральных калек, умственных паралитиков, недотёп и дур, которым французская и красивый наряд придавали вид приличных людей. Хорошее общество, хотя не отталкивало польского имени, имело патриотизм *sui generis*², покровительствовало народному искусству, немного литературе (если напоминала французскую), переодевалось в контуши на маскарады и живые образы, хвалилось предками, но гнушалось всякой революцией, которая могла сделать жертвой, потребовать денег, высушить мешки и замутить то благое счастье, которое давали дружеские отношения с замком, балы для Горчакова и милость наияснейшего пана. Высшее общество жестоко гнушалось демагогией, социализмом и во всём высматривало их следы. Заражённый этой болезнью был из него навеки исключён. Вообще сверх доброй французской, приличной одежды и каких-то таких находок, больше для допуска в салон

¹ Роман Ю. И. Крашевского (1864 г.)

² Единственный в своём роде (лат.)

не требовалось, но свидетельство об условиях, принимающих кандидата, для частого появления в высших обществах было условием необходимым. Социализма и демагогии страшились все, как дети – волка, достаточно было, желая какого-нибудь отпихнуть, бросить на него подозрения в новаторских убеждениях. В делах обычая, совести, личной жизни лишь бы не было что-нибудь слишком кричащего, высшее общество оказывалось очень снисходительным, но не прощало никому, кто не был монархистом и католицистом, не обязательно в жизни, но в громко объявленных принципах. Вольно было жить как желают, но следовало показываться на мессах, помогать фелицианкам и уважать аристократию, как выразительницу и символ монархизма и любви общественного порядка. Якобы отдавая честь прогрессу и христианской любви к людям, строили дома призрения и деревенские школы, чтобы в них прививать спасительные принципы, послушание и уважение к старшим, и самим Богом построенное на веки веков неравноправие сословий.

И были верные признаки, по которым узнавали скрытых демагогов, аристократия, как правительство, имело в подозрении длинные бороды, длинные волосы, эксцентричную одежду, словом, всё, что, лучше характеризуя индивидуум, слишком обращало на него глаза толпы.

Со стороны правительства и этих панов была в том некоторая инстинктивная логика; человек, который не слушается законов моды, может, и другими быть неудовлетворён. Отсутствие французишны давало догадаться о каком-нибудь низком таинственном происхождении, потому что известно, что обедневший полпанек может ребёнка пустить в свет без польской орфографии и без всякой графии, но ему французишну должны дать в приданое. Сколько людей женилось одной французишной, этого посчитать невозможно; разрешено самые большие глупости говорить, но нужно их повествовать красивой французишной.

Старая это история – наши упрёки в галломании, этот язык, однако же, нужный, но не должен заменять всего образования. Англичане вообще говорят очень плохо или вовсе не говорят по-французски, однако им в высокой цивилизации отказать нельзя. Эдвард словно родился для занятия места в этом высшем обществе, которым так искушался. По дороге в Варшаву он только мечтал, как о старании взобраться на самый верх, о балах в замке и вечерах у Августов Потоцких. Из этих двух крайних слов можно уже догадаться, что для него высшее российское или польское общество стояли полностью наравне, от отца или от матери, этого не знаю, наследовал он характер, главной чертой которого было, если так годится назвать, – кокетство.

Эдварду было необходимо понравиться всем вообще, не восстанавливать против себя никого, и готов был на самые большие жертвы, лишь бы быть хорошо видимым. Разумеется, что эта сладость характера только применялась к людям высших сфер. Что касается толпы, черни, уличного сброда и тому подобных (потому что Эдвард тем, с кем не жил, оскорбительных имён не жалел), был к ним более чем равнодушным, презирующим и холодным. Зато не было более молчаливого, гладкого, сладкого человека для тех, в которых он нуждался, чем пан Эдвард.

Природа дала ему инстинкт льстеца, холодность придворного, нищенскую кротость и медовую улыбку, которой приветствовал часто даже горечь, если её сверху сливали. Такой человек не мог не нравиться, особенно там, где всякая независимость характера считается смертным грехом; трудней для него, что был немножко слишком мягким, но хвалили как очень доброго юношу.

Прибыв в Варшаву, хотя какое-то время развлекался за границей, а слово *развлекался* имеет здесь узко определённое значение, Эдвард не привёз с собой ни одного определённого мнения о людях и свете. Было это *tabula rasa*³, готовая принять всё, что на ней напишут,

³ Чистая доска (лат.)

разбирался в устрицах и винах, но не в понятиях. Оракулом служило ему то высшее общество, на которое он решил так усердно взбираться, поэтому принял от него цвет ортодоксии и консерватизма, самым жестоким образом гнушался всем, что дышало общественным переворотом. Чтобы не быть принятым за демократа, брил бороду, оставляя только усики и английские бакенбарды.

Мы говорили уже, кажется, что Эдвард был совсем ладным юношей, его физиономия действительно слишком напоминала восковые фигурки модников, но созданной была для салонов, среди которых вовсе не поражала. В душе он считал себя Антиноем, и был уверен, что все великие дамы должны в него влюбиться, обещая себе этой красотой, по крайней мере, миллионное приданое.

Не знал бедный о том, что, как минимум, за сто лет все панны постарели и также гоняются за богатством, как кавалеры за приданым. Между тем мечтой пана Эдварда было быть любимым великой любовью, чистой, безумной, страстной, страшной, трагичной. Смотрясь в зеркало, при старательном причёсывании волос и завязывании платка, он сильнее утвердился в том убеждении, что пробудит какую-нибудь страсть.

Иногда на улицах он пробовал бросать взгляды, в уверенности, что каждый нанесёт смертельную рану, однако же жертвы его обаяния страдали в такой скрытности, что виновник ни об одной узнать не мог.

Поэтому в итоге пан Эдвард опустился аж до дочки профессора Чапинского, где ему также не посчастливилось. Отец Эдварда, которого мы видели в смиренной позе перед Абрамовичем, был старый вояка, не дальше видящий, чем конец своей сабли. Кругленьким и ладным состоянцем был обязан женитьбе, сидел на деревне, занимался фермерством и любил рассказывать о битвах, в которых принимал участие.

Соседи знали уже историю его походов на память, но он им их всегда повторял под видом каких-то забытых подробностей. Как вояка, привыкший к субординации, сыну он также привил первые принципы поведения, как человек, что сам всего добился с помощью разных протекций, помощи, подталкиваний и милостей ясно вельможных, научил его придерживаться лжи и с уважением переступал панские пороги. Мы видим, что с этим запасом принципов и понятий юноша мог смело идти в свет, не подвергаясь никаким опасностям.

Отцу было срочно вернуться в деревню, отвёз, поэтому, сына ко всем будущим его протекторам, не минуя тех, которых видел только раз в жизни, представив его генералу Абрамовичу, двум или трём военным сановникам, графу Замойскому, одному или двум Потоцким и в нескольких более богатых домах, двинулся с трубочкой в деревню, сказав при прощальном объятии, выходя от Позёмкевичовой:

— Как себе постелишь, так выступишь.

Эдвард стелил себе очень осторожно, но с решимостью, удобное послание. Во всех домах, в которые его ввёл отец, не обращая внимания на то, холодно или горячо их там принимали, Эдвард начал бывать упорно, сначала в день, в который всех принимали, потом, становясь более приятным и более нужным, всё чаще. Эдвард служил им как шпиц на двух лапах, был это *un homme a tout faire*, которому отплачивали скромным повседневным обедом, чаем *en famille* и лишь бы какой сигарой. За это Эдвард перед теми, которые в большой свет допущены не были, имел право называть графов и князей доверительно по имени, младших даже без церемонии нежней.

Я был у Гутя, говорил мне Германек, Стась приехал, Владзо выезжает и т. п.

Отношения с великим светом подвергли его убыткам, но Эдвард придерживался системы того юноши, что постился ради белых перчаток, предпочитал нормально не поесть, а выступить, где было нужно. Мог иногда не иметь чистой рубашки, но всегда имел свежий воротничок, могло ему не хватать целых чулков, но, упаси Боже, лакированных ботинок.

Мне кажется, что мы достаточно охарактеризовали одного из актёров романа; узнать его немного ближе нам даст дальнейший его ход.

* * *

Дивные есть иногда и судьбы у зданий, которые, как люди, проходят через разные колеи; так тот скромный старый отель Герлаха, из которого спекуляция сделала гигантский Европейский отель, был сперва пристанищем шляхты, приезжающей из деревни, потом огромным вроде бы Европейским караван-сараем, потом кладбищем, в котором сложили тела жертв 27 февраля, наконец, сегодня – московская кордегардия. Перед февралём он вмещал в себя самые разнообразные общества, как все отели, похожие на берега, на которые волна и водоросли, и красивые скорлупки, и неприглядные камешки выбрасывает.

В одном из покоев внизу, в скромной комнатке размещались литераторы и художники, вечерние заседания которых продолжались недолго и так как-то несчастливо клеились; на верхних этажах жило много панычей, сверху поглядывающих и на эти литературные вечера, и на то, что делалось на улице. В самом начале, когда патриотические чувства начали показываться явственней, в Европейском отеле собиралась уже горстка оппозиции, тихо ропща против выходов на улицах, позже, при правительстве Маркграфа⁴, за вкусными ужинами, создавался клуб великопольчиков. Счастьем, был он такой немногочисленный и так позорил сам себя, что ни для кого не мог быть опасным. Но в пору, о которой речь, Маркграф ещё не повлиял на эти колебания, а те, что его радостно должны были принять, ждали только ожидаемого Мессию.

Кто не мог иметь, как пан Эдвард, изящного и обширного холостяцкого жилища, очень охотно размещался в Европейском отеле. Было это как-то в хорошем тоне, стульчики, обитые бархатом, множество занавесок на окнах, очень приличный вид. Поэтому Эдвард не преминул сразу там поселиться. Движимости он имел немного, а дело было в том, чтобы в случае, если бы ему какая достойная фигура хотела бросить визитку или почтить посещениями, иметь, где всё-таки её принять. Он мог гораздо скромней и удобней разместиться в частном доме, но на третьем этаже, или, может быть, с тыльной стороны и интерьер бы так пышно не выглядел. Остановился, поэтому, в отеле, постоянно, как на ночлег, но имел ловкость надевать там много знакомств со знаменитостями, которые прибыли в родину из-за границы.

Он знал, как выглядел прусский генерал, который за чем-то был выслан к Горчакову⁵, какой мундир имел полковник австрийский, ехавший с депешами в Петербург, сколько покоев занимал какой-то лорд, который посетил Варшаву и т. п. Более скромная шляхетская молодёжь размещалась в Саксонском отеле, Виленском или Римском, а как раз та, знакомство с которой было для пана Эдварда наиболее дорогим, наплывала в Европейский отель. При *table d'hôte* делали иногда весьма приятные знакомства.

Было это как раз вечером 25 февраля после той катастрофы в Старом Городе, которая упала как искра в порох народного чувства. Отель Европейский по причине наплыва членов Земледельческого общества был полнѐхонек. Спустя какое-то время, когда уже всё окончилось, а рынок был пуст, когда по улицам начали проходить густые патрули, закрыли заседание Общества, и шляхта посыпалась в разных направлениях, спеша домой. Значительнейшая часть тиснулась в отель Европейский, в котором жила, иные шли на ужин к Bouquerela, другие к Francois и в Рим. В зале уже знали о том, что произошло в Старом Городе, но, или тот, что принёс весть, принёс её такой приправленной, или её общее расположение таким образом заправило, большинство земледельцев, расходясь, показывало не возмущение слу-

⁴ Вероятно, имеется виду Александр Игнаций Велёпольский (1803–1877), государственный деятель Польши.

⁵ Михаил Дмитриевич Горчаков (1793–1861) был наместником Царства Польского в 1856 г.

чившемся, но неудовлетворённость им. Общество считало себя одним законным представителем страны, его желаний и мнений, а тут кто-то смел выступить с манифестацией без его разрешения! Мы позволим себе сделать тут маленькое отступление.

Хотя первое наше повествование вышло очень недавно, мы уже слышали, как главное обвинение против него, что смело судить беспристрастно о такой важной для страны институции, каким было Земледельческое общество. Во-первых, ни самые святые, ни самые лучшие и благородные институции от суда человека и общества не избавлены; всё следует разбирать, потому что всё поддаётся разбору.

Мы не отказываем ни Ренану в праве писать жизнь Господа Христа, ни себе в свободе суждения о Земледельческом обществе. Это общество, очень хорошо переведённое с итальянского Кавура, отдало стране великие, отличные заслуги; но как много людей и много обществ не хотело понять в решительную минуту, что его роль была окончена. Вина этой ошибки, несомненно, тяготеет не на членах общества, но на его Комитете, который уже осторожно считал себя будущим пореформенным министерством страны. Даже, кажется, что министерские портфели были уже поделены; ничего странного, что этому кабинету *in spe* уступать площадь перед незнакомой горсткой молодёжи не хотелось. Мы имеем великое уважение к заслугам человека и людей, которые создали Общество, но это не мешает говорить правду.

Пан Эдвард уже в зале услышал, что было какое-то замешательство, какой-то шум и драка на рынке Старого Города, и он, и иные паньчи неслыханно возмущались на ту так называемую улицу, которая смела нарушить покой рождающегося шляхетского сената.

Уже в то время вырисовывались две противоположные партии: одна, которая хотела законными средствами добиваться реформ, другая – восстанием независимости. Посередине между ними стояли люди примирения, которые хотели отложить революцию *ad calendas graecas*⁶, а тем временем сидеть себе спокойно.

Смело можно сказать, что в Земледельческом обществе люди законной и откладывающей партии перевешивали. В толпах, которые в этот туманный сырой вечер около десяти часов выезжали с Наместниковской площади, были слышны шёпоты недовольства. Некоторые пытались уменьшить значение происшествия и представить его как шалость малой важности. Во всех превозмогал страх, что Обществу великой его работы докончить не дадут. Одно из двух: или Общество должно было завладеть народом и управлять им, или отречься; первого не сумело, второго не хотело.

Эдвард шёл вместе с двумя молодыми людьми, внешность которых была в отличной гармонии с его физиономией. Старший, граф Альберт, высокий брюнет с лицом худощавым, жёлтым и бледным, издавна болел политической экономикой и как экономист содрогался на весь общественный беспорядок; другой – блондинчик, маленький, улыбчивый, *bon vivant*, не терпел сброда и всего, что регулярный импорт устриц и шампанского может подорвать. Близкие звали его Дунием, хотя никто не знал, какая была этимология этого ласкового имени, потому что Дунио звался попросту паном Марцином Клепинским.

Проходя улицей между дворцом наместника и отелем, молодые люди очень горячо разговаривали, но потихоньку, чтобы их какой патруль не принял за заговорщиков.

– А пусть их всех возьмут дьяволы, – воскликнул Дунио, – так нам они спокойно нашу работу докончить не дадут, а добьются того, что Общество распустят.

– Явная вещь, – отпарировал граф Альберт, – что это может быть дело, сделанное полицией, потому что полиция ищет предлог.

– Уж, что есть, то есть, – докончил Эдвард, – но фатальными делами пахнет...

⁶ До греческих календ (лат.) Бук. на неопределённый срок.

– Несчастье, – вздохнул Дунио, – человек, прибывший в Варшаву, обещал себе как-нибудь развлечься, а тут всё в голову возьмёт.

Так разговаривая, вошли они в отель, в его дверях уже и по коридорам встречая группы особ тихо между собой шепчущихся.

– Как живо, нет никого убитого, – говорил один, – нескольких там побили саблями плашмя, немного арестовали, остальные разбежались, не нужно из этого великих вещей делать.

– А я вам, сударь, говорю, что будем ли мы что делать или нет, тут что-то страшное клеится. Нужно собирать манатки и на деревню убегать, – прервал другой.

– Ради Бога, – добавил какой-то усач, немного седоватый, который мог быть солдатом с тридцать первого года, – если тут действительно есть какая-нибудь работа, шляхта к ней должна быть причастна, хотя бы голову сложила! Что же снова, если бы эти мешчане одни манифестовали, а мы смотрели, болтая о грязи, – тогда бы мы уже до грязи опустились!

– Тихо! Тихо! – прервал другой. – Потому что тут везде полно московских шпионов, ещё нас в тюрьму заберут.

– Но там лилась кровь! – воскликнул усач. – Польская кровь! Наша кровь!

– Где там! Немного шишек, немного синяков, бабы горшки набили, и всё! Что же ещё! Авантюристы, ничего больше.

– Что же на улице?

– Везде тихо и спокойно.

– Как думаете, что будет?

– Везде глухо, везде тихо, глупость была, глупость будет, – добавил с великой серьёзностью входящий граф Альберт.

Около десяти особ с ним вместе находилось в маленьком салончике внизу, в котором был заказан ужин. Вся поверхность стола объявляла, что его должны были есть не демократичные рты. Посередине стоял букет бессмертников, по обеим его бокам – два графина шампанского в серебряных посудах, при каждой тарелке по четырнадцать рюмок разного роста и полноты, зелёных, жёлтых и белых, на отдельном столике стояли очень изысканные закуски.

Граф Альберт взял голос, обращая внимание на вопросы, вытекающие из экономического положения.

– Пока Европа не очистится от этих революционных элементов, нормальный прогресс и развитие всех сил общества будет невозможен. На каждом шагу мы встречаем эти бунтующие дела, которые ничего начать и провести упорно не дают. Посмотрите же на Англию...

– Но прошу вас, граф, почему в Англии эти бурлящие элементы ничего плохого сделать не могут? – прервал маленький человечек, рябой и грязный, который неведомо как оказался в таком отборном обществе.

Мы должны объяснить, что, хоть незаметный, хоть сын доктора и внук цирюльника, пан Генрик Грос был очень богатым, получил прекрасное образование, женился на шляхтенке и популярностью получил себе места в наилучших обществах. Было это ходящее противоречие, знали его по тому, что непрестанно полемизировал.

– Почему? Потому что их там разум государственных мужей притормаживает, а мы, к несчастью, ни мужей, ни государства не имеем.

Это якобы остроумие очень понравилось, а граф говорил дальше, не обращая внимания на то, что Грос шепнул: «Если бы было правительство, нашлись бы мужи».

– Люди порядка должны взяться за руки.

– Мой дорогой, – прервал рябоватый Грос громче, – как возьмёмся за руки, то уж этими руками ничего сделать будет нельзя. Об этом ли речь?

Начали смеяться.

– Но конец концов, что было в Старом Городе? – спросил беспокойный Дунио.

– Говорил мне прямой свидетель, – начал Эдвард, – что их очень побили... подавили...

– Вот это тебе глупые москали! Наделают мучеников, посеют энтузиазм и покоя уже не будет, – сказал, серьёзно приближаясь к водке, граф Альберт, – я говорил о том с Замойским, толкают нас в невесть какую дорогу, Бог знает кто, вслепую, и загоняют в пропасть.

На лице рябоватого человека нарисовалась саркастическая усмешка.

– Дорогой мой, – сказал он, – мне кажется, что вы ошибаетесь в оценке людей и вещей, измеряете наше положение и России европейской меркой, а для них должна быть мерка особая. С москалём вашей легальной оппозицией никогда ни к чему не придёт, обмануть его трудно, внушить ему уважение почти невозможно, сделать его искренним и честным не думай. Кончится на том, что, или нужно есть тот хлеб, политый слезами и посыпанный пеплом, или борьбой иного добиваться. Если бы ты, граф благодетель, как Даниил в пещере со львами, находился в неприятном товариществе диких зверей, сомневаюсь, чтобы тебе тогда хватило законной оппозиции, а москаль есть и будет ещё долго простым скотом. Или его надо бить, или есть с ним из одного корыта.

На эти простые слова пана Генрика Гроса граф сильно скривился, покрутил уста и замолк. Все другие, посмотрев друг на друга и на рябоватого, также сжали уста. Пан Генрик предчувствовал, что нужно исправиться, и добавил:

– Я надеюсь, что вы не принимаете меня за революционера, но с русскими самый порядочный человек, побуждённый их примером, имеет охоту сделать авантюру.

Дунио приблизился к Гросу и сказал ему нетерпеливо, таща его за полу:

– Оставьте в покое, много шпионов, ещё нас тут всех заберут. Сядем за ужин, котлеты стыннут...

Послышалось несколько вздохов, когда беседующие занимали места, лица были нахмурены, разговор не клеился, все сидели как приговорённые. Продолжалось это до тех пор, пока не начали кружить первые рюмки, тогда уста снова открылись и граф Альберт, беря слово, как если бы говорил с трибуны общества, сказал следующие слова:

– То, что сегодня произошло в Старом Городе, несомненно, маленькая вещь, но великий симптом. Какая-то манифестация прошла без нашего ведома, против нашей воли, поэтому, если и та сила, что это делает, возьмёт верх, мы будем не во главе народа, но под властью незнакомых нам людей.

– Кто? Как? Где? Могут взять верх? – прервал Дунио нетерпеливо. – Зачем о том говорить? Что нам принадлежит? Оставил бы в покое.

– Но прошу тебя, сиди же тихо и дай мне докончить, – огрызнулся Альберт, стуча рюмкой. – Мы не относимся всё-таки к революционерам, мы за развитие законной институции, мы можем о том говорить громко. Здесь речь идёт о нашей шкуре, много веков шляхта была во главе Польши, теперь её думают свергнуть.

– Подумай только, – сказал Генрик, – разве сама она когда-нибудь не отречётся? Мы сидим в картошке и грязи, что же удивительного, что иные за штурвал схватились?

Когда Грос это говорил, на слово во множественном числе *сидим* Альберт сделал значительную мину, другие посмотрели друг на друга.

– Значит, потому, что иные хотят героически выстраивать авантюры, шляхта должна бежать за ними бараньим галопом?

– Но есть ли это только авантюры? – спросил Генрик.

– Как мне это иначе назвать, – ответил Альберт, – если такая горстка людей устремляется с кулаком на превышающую силу миллионов?

– Геройством, – сказал Генрик, – но не обязательно авантюрой.

– О чём у вас речь? – прервал другой. – Тут нужно выбрать одно из двух: или сносить, что терпим, или добиваться лучшего.

– Но ты не отрицаешь, – подхватил Альберт, – что есть по крайней мере два, если не больше, способа добиться этого лучшего, не обязательно кулаком... можно и разумом.

– Да, добавь ещё и Валленродизм! – засмеялся Грос. – Всё это отлично для тех, кто хочет на людей действия походить, а ничего не делать, и никаких жертв приносить себе не желают. Мы видели таких Валленродов, покрытых звёздами, получающих по несколько десятков тысяч пенсии и хранящих в тёмной камерке портрет Костюшки или конфедератку; вздыхали они до смерти, вытирали слёзы при воспоминание о родине, но сохранили святую веру тому, кто им платил.

– Слово чести, – произнёс Альберт, – что при таком расположении умов, как ваш, ничего серьёзно обсуждать нельзя.

– Но кто же за ужином плетёт такой бред? Граф Альберт, добропорядочный человек и достойного света, поведай, что ты сказал бы тому, кто подал бы тебе портер с десертом или старое венгерское вино после супа? Вот как раз так ты потчуеть нас при лёгком ужине своей тяжёлой беседой. Ужин имеет свои права. Во Франции высмеяли бы человека, который хотел бы при нём вести экономико-философскую беседу.

– Но он прав, он прав, – прервало несколько голосов. – Поговорим о чём-нибудь другом.

– Естественно, о чём-то таком, что пристало ужину, – триумфующе добавил Дунио.

– Поговорим о конях, – сказал усатый, – это будет предмет не слишком тяжёлый для ужина и не слишком чуждый духу времени.

Говоря это, он закашлял и огляделся, но панычи, что его окружали, как-то хмуро этот намёк приняли.

– Или о женщинах, – шепнул Дунио с улыбкой.

– Господа, знаете анекдот о дукате? – спросил усатый. – Время бы уже из этого выйти.

– Ну, почему же о женщинах говорить нельзя? – спросил Дунио. – За это, по крайней мере, в тюрьму не возьмут.

– Вопрос! Если бы при Пашкевиче ты осмелился болтать о его романах, ты поехал бы, несомненно, охотиться на соболей.

– Но сегодня нет этой опасности, – воскликнул Грос. – И когда уже о том речь, граф Альберт, я предлагаю выпить за здоровье прекрасной Иды!

Граф Альберт немного смешался, что удивительней, несколько панычей, сидящих за столом вместе, покраснели, поглядывая одни на других. Грос с издевательской усмешкой налив себе полную рюмку, встал и, поднимая её вверх, воскликнул:

– Здоровье прекрасной Иды! В руки графа Альберта.

– Почему в мои руки? – сказал холодно Альберт. – Принимаю тост, но этой чести объяснить себе не могу. Панна Ядвига меня вовсе особенными взглядами не удостоила. Если это обозначает, что ты, пан, высоко ценишь моё к ней уважение, в этом, по крайней мере, не ошибёшься. Следовательно, здоровье панны Ядвиги!!

Эти слова, сказанные с хладнокровием и серьёзностью, привели к минутному молчанию, усатый, к которому имели много уважения, произнёс:

– Мои паны, вижу, что это какая-то новая звезда на варшавском горизонте; будьте же снисходительны к старому, которому уже глаза смотреть на этот блеск не позволяют, объяснить это явление.

– Отлично, – рассмеялся Грос, – дорогому капитану кажется, что в двух или трёх словах мы можем описать ему этого сфинкса с лицом женщины.

– Я думал, что вы – великий художник, потому что мастер несколькими штрихами угля на стене может идеальную красоту увековечить.

– Мы не ожидали тут среди нас мастера найти, – ответил Грос, – а если бы был, ручаюсь, что поломал бы карандаши и кисти, прежде чем взялся за такую трудную задачу. А ты, пожалуй, не знаешь, пане капитан, что такое панна Ядвига? В большом свете называемая

Идой, для избежания польской какофонии, в близком кругу именуемая Ядзей, а, как я слышал, уличной толпой, которая её отлично знает, окрещённая именем дорогой Ягни.

– Но кто же это? Что? Откуда? Как? – спросил усатый капитан. – Скажите по-человечески, и прозой.

– Прозой? О Ядвиге! – отозвался голос из-за стола. – Ты требуешь невозможного.

– Ну, тогда стихами, и по-польски, – сказал нетерпеливый капитан.

– Кто имеет голос? – спросил Генрик. – Так как нужно, чтобы это кто-то порядочно декламировал капитану. Все эти паны, – прибавил он, – более или менее влюблены, поэтому ни один из них не квалифицируется на рисовании портрета. Я старый, некрасивый, женатый и по натуре насмешник, могу вам сделать её карикатуру.

– Уж хотя бы карикатуру, – сказал капитан, – а не утомляйте меня только.

Дунио ударил по столу ножом, позвонил вилок по рюмке и воскликнул:

– Милостивые господа, утихните! Пан Генрик Грос нарисует вам карикатуру панны Ядвиги Жилской.

– Что? Ядвизия Жилская? – крикнул капитан. – Эта золушка вышла на героиню? Но я её ребёнком на руках носил, неприглядную! Или так похорошела? Потому что девушка, как была сердечно милая, живая, остроумная, так же и необычайно невзрачная!

– Что ты говоришь, капитан? – возмутился пан Эдвард, который до сих пор молчал. – Это замечательная красота, но изысканная и оригинальная, не каждый её понять может.

– У меня есть голос и напому о нём, – прервал пан Генрик, – и заверяю, что пока карикатуры не закончу, никто мне в локоть не смеет толкать и прерывать речи.

– Слушайте! – воскликнул повторно Дунио.

– Поскольку ты, капитан, знал её ребёнком, знаешь о её семье и происхождении; для иных моих слушателей добавлю, что панна Ядвига Жилская является единственной дочкой пана Иеронима Жилского, который на арендаторах и на тучных волах сколотил себе огромное состояние.

– Настоящая карикатура, – крикнул, раскрасневшись, граф Альберт, – а что хуже, клевета. Жилские – старинная шляхта в Несецком, а Иероним был женат на панне Потоцкой, рождённой от Сапежанки.

– Я просил не прерывать, – сказал Генрик, – не отрицаю, что миллионный торговец волов женился на Потоцкой, но вскоре, пока добрёл до Вены с волами, хорошо набил кошелёк и бросил торговлю, купив огромные земли. Притом не вижу, чтобы его то умаляло, что на волах заработал, шляхтич или не шляхтич? Панна Ядвига смолodu очень осиротела, взяла её одна из добрых тёток на воспитание, но сама бездетная, с сердцем мягким и полным любви, дала этому ребёнку аж страх пробудить! Сейчас также панна Ядвига, Ида, Ядзя, Ягна есть самой эксцентричной из женщин под солнцем. Одни говорят – идеал девушки, – другие – прообраз женщины. Капитан, ты говоришь, что помнишь её некрасивым ребёнком. Сказать по правде, я бы её сейчас красавицей назвать не смел, если красивыми есть греческие статуи и классические черты, но очарование, но обаяние, но неслыханные чары.

– Опиши же мне, как она теперь выглядит! – сказал капитан.

По меньшей мере, десять голосов сорвалось для ответа, но граф Альберт заглушил других и сказал:

– Не позволю Генрику делать карикатуру из образа панны Ядвиги, оставлю ему оборотную сторону медали, но позвольте мне хоть малюсенький эскиз нарисовать капитану.

Панна Ядвига не является красавицей в материальном значении этого слова, особенно лицо её совсем не есть классическим, не есть это Юнона из Вилла Людовизи, не профиль греческой медали, но, всмотревшись в эти дивно горящие глаза, в это белое чело, по которому играют олимпийские мысли, в эти уста, немного большие и выдающиеся, но столько говорящие; во всю фигуру, помазанную неслыханным очарованием, невозможно

челом перед ней не ударить. Лицо – полное характера, энергии, жизненной отваги; что касается фигуры, строения, рук, ног, бюста, показал бы мне кто что-нибудь равно стройное и по-настоящему красивое. Поглядев на эту женщину, сразу видишь, что красоту ей придаёт дух, что её освящает. Я знаю тысячи, похожих на неё как две капли воды, а вполне некрасивых, её красоту представляет слово... душа.

– Ну, а, может, и те два или три миллиона, которые будет иметь в приданом, – сказал капитан, – не считая наследства, которое будет после бездетной тётки, – добавил он, смеясь.

– Прошу прощения, – отозвался как всегда с великой серьёзностью граф Альберт, – Ида и без миллиона была бы очаровательна.

– А с миллионами, – рассмеялся Дунио, – так, как каплун с трюфелями, не хуже.

– Но какую же она играет здесь роль? – спросил усатый.

– Могу ли я закончить карикатуру? – спросил Генрик. – Мне кажется, что я имею на это право.

– Заканчивай, но быстро, – шепнул кто-то сбоку. – Чёрт их знает, полиция бдит, готовы подумать, что мы какие заговоры здесь замысливаем, нужно бы расходиться...

– Значит, закончу быстро, – говорил Генрик, – панна Ядвига с тёткой живут тут год. В полутонах я должен нарисовать тётку, самую прекрасную из тёток, но самую независимую из женщин. Бедняжка после смерти мужа, которого очень оплакивала, – потому что, кого же она не любит и по ком не плачет? – так незмерно пополнила, что с трудом может двигаться. Дома возят её в кресле, к карете ведут, по крайней мере, два лакея. Ничего не делает, только плачет, разваливаясь при Ядзи, пьёт кофе, шьёт на холсте, не допускает, чтобы с её обожаемым ребёнком произошло что-нибудь неприятное. Догадываетесь, как удобно с такой безвластной мастерицей такому человеку, как Ядзя. Поцелует тётку в лоб и, прежде чем та сумеет её задержать, уже сбежала, куда хотела.

– А очень обвиняет? – спросил капитан.

– Между нами говоря, – отпарировал Грос, – только миллионной панне так разрешено себя вести. Я очень сильно верю, что в этом ничего плохого нет, но видимости для клеветы больше чем нужно. Во-первых, она знакома со всей молодёжью, даже с такой, которой ни в одном салоне не увидишь, потому что много из них не верит в перчатки и не носит калош. Под видом художников и учёных, и разного рода знаменитостей панна Ядвига принимает таких людей, какие составляли евангелический пир. Но это не препятствует ей бывать в самых лучших обществах, ездить верхом с молодёжью, джентельменами, когда хочет выступить как княжна и богача впечатлить как испанская королева. Это поистине особенная женщина, имеющая особенную власть ассимиляции, с каждым обществом есть как дома, понимает язык каждого, умеет всем понравиться, а что там в глубине сидит, один Господь Бог знает. Что благородная и достойная, не сомневаюсь, но что немного безумная, никто из вас не будет отрицать.

– Браво карикатуристу! – сказал капитан. – Насколько припоминаю её ребёнком, очень на что-то подобное смахивала. Иногда засиживалась в салоне при важных гостях часами, аж её должны были гнать на детские игры, а иногда её из шкафа и гардероба вытянуть было невозможно.

Какой-то странный стук послышался в коридоре, Дунио подскочил, взглянул за дверь и воскликнул с великим испугом:

– Бог мой, жандармы!!

Сделался великий переполох, некоторые поспешно вскочили из-за стола, иные побледнели, капитан с усмешкой покрутил усы, а Грос насмешливо сказал, берясь за рюмку:

– Господа, живо! Чтобы нас за что-нибудь не посадили, предлагаю громко тост за здоровье наияснейшего пана и всей императорской семьи!

От этой шуточки как-то опомнились трусы, только Дунио от двери повторял:

– Ей-Богу, вошли жандармы!

– Наверное, узнали, что ты устраивал манифестацию в Старом Городе, – сказал ему Грос, – и идут к тебе.

– Но прошу оставить в покое! – с гневом огрызнулся Дунио, топая ногой. – Готовы ещё услышать... это не шутки!

Он, однако, остановился, увидев на всех лицах выражение почти доходящее до презрения. Всё-таки и беседа, и ужин, отравленные этими жандармами, быстро как-то окончились. Самые изящные паньчи по одному крадучись вышли, Грос и капитан остались, беседа немного дольше, разговор их был тихим, серьёзным и полным вздохов. Окончил его усатый этими слова:

– Погибнет Польша или будет жить, я спокоен о том, что великой ли возродится или умрёт героической смертью.

* * *

Там, где Краковское предместье сходится с Новым Светом, стоят бок о бок два больших дворца Замоиских, сейчас обращённые в московскую кордегарию, в результате неслыханного насилия, напоминающего то китайское правосудие, где за одного виновника вся провинция отвечает. Из двух этих сурово и важно выглядящих здания, первое занимала почти вся семья Замоиских.

Интерьер этого дворца, часть которого примыкала к улице Святого Креста, был таким же скромным, как и его внешность. Сегодня, после почти уничтожения этого исторического здания, после осквернения московским сбродом, годится припомнить, как выглядело раньше. Его физиономия хорошо отвечала характеру мужа, жилищем которого было. Там было больше книжек, образцов сельскохозяйственных орудий, ресурсов для ума, материалов для работы, нежели панского выступления и магнатского рисования. Начиная от сеней до салона повсюду встречаешь следы серьёзного ума и обывательских занятий. Это тихое и почти бедное жилище, рисующее человека, который о внешнем представлении не заботился, несколько раз в году стягивало почти всех варшавян с поздравлениями пана Анджея, а раз в неделю, что было более известного – на тихую вечернюю беседу. Было время, когда граф Анджей голосом публичного мнения был назначен представителем всей страны.

Невозможно отрицать его великих заслуг для Польши, этот муж, в то время, когда все были бездейственными, один нашёл область, в которой работать было разрешено, можно, и для будущего благотворно. История, к которой имеет отношение пан Анджей, точнее укажет характер его работ и их значимость. Мы, вспоминая его как человека, отдаём честь стойкому и правому его характеру. Всё-таки или мало, или вовсе мы не имели равных ему. Те, что его окружали, и считали себя гораздо выше него, частички его не стоили. Рядом с той простотой обычая, который через него распоряжался всем жилым домом, какими же убогими и бедными казались элегантность и роскошь подпанков! Этот старый швейцар, скромно одетый, этот старый слуга в покоях, и вещи, помнящие более давние времена, этот тихий и немного мрачный интерьер, какое приятное и успокаивающее производили впечатление!

Рядом более обширный второй дворец Замоиских был населён множеством постояльцев, которых после тех бомб Берг, ограбив, выбросил на улицу. Более самостоятельные и менее богатые семьи размещались тут в большом числе, а верхние этажи здания занимала бедная достойная молодёжь. Комнатки были недорогие, аккуратные, а положение в центре города очень удобным. Сюда также теснились жильцы, которые никогда недостатка в жилье не испытывали. В одном из апартаментов, расположенных со стороны улицы, с утра 27 февраля в обширном салоне прохаживалась молодая женщина, держа в руке книжку, но обрадо-

ванная больше своими мыслями, чем занятая ею. Ежели правда, что жилище придаёт черты к характеру человека, салон, о котором речь, как-то довольно непонятно представлялся.

У окна стоял ткацкий станок, а на нём видна была начатая подушка с польским Орлом и Погоной. На кровать была брошена, видно, недавно купленная картина без рамы, представляющая карпацкую околицу, на столе в беспорядке лежало множество книжек, гравюр, клубочков, очень красивый мундштук для лошади и красивая плётка с серебряной головкой. На одном из стульчиков была шляпа из зелёного войлока, на другом – огромный старый фолиант, на полу – какая-то отлитая статуя, а на ковре при канаве отдыхал очень красивый белый пудель в коричневом ошейнике, спящий словно после великой усталости. В удобном кресле при другом окне сидела за ткацким станком немолодая женщина, очень полная, красивой и мягкой физиономии. Она прервала свою работу ради книжки, которую листала с великой заинтересованностью, иногда только из-под очков поглядывала на прохаживающуюся молодую особу, на лице которой явно рисовалось какое-то беспокойство.

Читатель легко догадается, что имеет перед собой ту знаменитую панну, Ядвигу Жилскую. Для описания её лица и фигуры, очерченных вчера паном Генриком, не добавим ничего, кроме того, что была одета с большим вкусом. На ней было одето лёгкое платье кармелитского цвета, чрезвычайно широкое, со складками и красиво драпирующееся по фигуре, против обычая, никаким кринолином не охваченное, толстый шёлковый пояс с длинными концами охватывала её в поясе. Белые гладкие манжетики и такой же воротничок очень дополняли скромный, но к лицу, наряд. Волосы у неё были сплетены греческим способом в большие косы, обёрнутые вокруг головы и искусно уложенные узлом. Красивые тёмные глаза, простой нос, немного широкие румяные уста поражали в этом немного загорелом и зарумяненном здоровьем лице.

В очень красивой белой ручке она держала книжку, но её не читала, лихорадочно срывалась несколько раз к окну, как бы что-то ожидая, потом, задумчивая, ходила снова, давая матери признаки нетерпения. Тётка, поглядывая на неё, иногда пожимала плечами. Какое-то время продолжалось молчание, когда в дверь салона постучали. Ядвига быстро к ней подбежала и, поговорив в течение минуты с кем-то стоящим на пороге, поскакала вся зарумянившаяся к тётке.

– А видишь, тётя, – сказала она, – почему мне было не разрешить пойти на это богослужение у Кармелитов, я слышала, толпы были огромные, но час утренний и женщин почти не было. А уж и мы польки, и мы имеем для родины обязанности, и мы должны идти с братьями! А! Никогда себе не прощу, что послушала тебя, нужно было обнять, поцеловать и сбежать. Ты бы меня не догнала. Самая замечательная на свете вещь, всё наше достойное гражданство, вся наша сердечная шляхта, которую город приветствовал с криками. Говорят, что прямо оттуда должна была выйти большая процессия через Старый Город, Свенто-Яньскую, Замковую площадь до дворца Наместника, чтобы по-братски соединиться с земледельцами, которые сегодня уже совсем иначе расположены. А! Как это будет чудесно! Нужно там обязательно быть, я знаю, что иду ко дворцу Наместника приветствовать эту процессию... немедленно.

Тётка аж отодвинула станок и, хотя с тяжестью, двинулась к племяннице, заламывая руки.

– Ядзя, дитя моё! Заклинаю прахом твоей матери, смилуйся надо мной, не делай этого! Чувствую, хоть ничего не знаю, что какая-то буря висит над нашими головами, не отпущу тебя, не позволю, не могу...

В глазах Ядвиги стояли слёзы, она опустилась перед тёткой на колени, обняла её руками, начала целовать колени и просить, тётка даже расплакалась.

– Ты знаешь, дитя моё, что меня, слабое существо, всегда своими слезами победишь, но годится это, из фантазии такой тревогой наполнять моё сердце.

– Тётя, не из фантазии, но туда нас зовёт долг!

– Весь долг женщины – в доме, сердце моё!

– Я не вполне с этим согласна, тётя, у меня насчёт этого свои теории, ты знаешь, это было хорошо в те времена, когда женщины были невольницами. Впрочем, в обычные времена пусть уже женщина сидит взаперти дома, но в горячие часы борьбы, почему же мы, как матери рядом с черногорскими сынами, как жёны греков с мужьями, сербские сёстры с братьями, рядом стоять не в состоянии? Женщина, тётя моя, – добавила она с запалом, который прояснил всё её лицо, – женщина есть больше, чем человек, должна быть человеком и женщиной. Женщиной у колыбели ребёнка, у плеча любимого мужа, но библейской героиней в великие часы народной жизни...

Тётка обнимала её и плакала.

– У тебя голова кружится, моя Ядзя, не знаешь, что плетёшь, если бы женщина выполняла только свои обязанности: дочки, жены, матери, уже очень было бы достаточно.

– Да, для обычной женщины, но я обычной женщиной быть не хочу!!

– А! Ты моя дорогая героиня, из сострадания, по крайней мере, не отлетай от меня, пока я жива, уж потом унесёшься себе в небеса! Когда я о тебе думаю, всегда мне в голову приходит покойный Станислав Т., который считал себя великим поэтом, вдохновенным сочинителем. Влюбился в ладную Каролину С. красивое, милое, но тихое и непоэтичное создание, и вечно себя сравнивал с орлом, королём птиц, влюблённым в гусыню, которая за ним в облака лететь не может, вот я есть эта гусыня, моя Ядзя, а ты – тот орёл. Если бы орёл имел сердце, сидел бы при гусыне и был бы счастлив!

Ядзя немного усмехнулась, немного в её глазах появились слёзы, закрутилась и грустно добавила:

– А, может, также я немного эгоистка, моя дорогая тётя, но в чём же я виновата, что я эту страну так люблю, что рада бы быть везде, где что-то для неё делается! Что же там, в конце концов, могло бы со мной стать? Что же русские могут сделать безоружной женщине?

– А! Ты не знаешь русских, они с безоружными больше всего любят бороться! Разве уважают молодость? Или смилуются над слабостью? Есть ли для них что святое?

Когда она так говорила, вдруг пудель вскочил, подбежал к окну, опёр лапы на стекло и начал показывать великое беспокойство; с улицы послышался какой-то ропот и шум. Тётка с Ядвигой подбежали к окну и по необычному оживлению, по бегущим в разных направлениях людям поняли, что в городе должно было что-то произойти. Мужчины живо летели в сторону дворца Наместника, женщины, словно встревоженные, убегали к Новому Свету, жандармы со всей силой летели к замку, дрожки гонялись одна за другой, множество людей, лихорадочно встречаясь, бросали друг другу слова.

По их движениям можно было понять, что о чём-то друг другу рассказывали. Какое-то время прошло в удручающем беспокойстве ожидания, никто не приходил, угадать, что делалось, было невозможно, Ядвига, заломив руки, с вызванными горячкой румянцами летала по салону, пудель бегал за ней, глядя в глаза, словно её понимал, тётка потихоньку молилась.

На лестнице послышались быстрые шаги, Ядвига отворила немного дверь и, не в состоянии удержаться, спросила мужчину, который как тень промелькнул перед её глазами:

– Ради Бога, скажите, что делается в городе?

– Стреляют в людей, – живо ответил незнакомец и полетел на третий этаж.

Тётка не услышала ответа, но о нём догадалась по побледневшему лицу племянницы, обе женщины замолчали, глядя друг на друга с ужасом.

Бесконечно долгим показался им час одиночества, который даже приход какого-нибудь слуги не прервал. Ядвига почти всё время стояла у окна, но из того, что можно было через него увидеть, не угадала сцен кровавой драмы. Русские, как бы пристыженные и встревоженные, сновали по улицам, мрачный и разъярённый, но сдерживающийся от взрыва народ,

с отвагой и важностью проходил молчащий, более живыми шагами бегала там молодёжь, экипажи сановников пересекались в разных направлениях.

Прилично за полдень показалась горстка людей около Святого Креста, приблизительно двадцать мужчин скромно и бедно одетых, посередине несколько из них на досках, кое-как сбитых, поднимали над головами труп, запятнанный кровью.

Вид этого бледно-синего тела с застывшими чёрными шрамами, пронял Ядвигу почти отчаянным безумием.

– Смотри, тётя! Труп! Мученик! Эти варвары посягнули на безоружных! Как это народ может выдерживать? Почему не бросится весь на этих убийц! Я женщина, но чувствую, что убивала бы без милосердия!

– Да! – ответила тётка, плача. – Пока бы твой москаль не расплакался.

Спустя какое-то время потом дверь отворилась и молодой человек с огненным лицом, запыхавшийся, вбежал в салон. Он был хорошо знаком обеим дамам, сын их соседа, который приехал из деревни, как член общества на общее собрание, звали его Мечислав Скорупский. Не принадлежал он полностью к обществу паньчей; сын солдата, сам готовый к бою, он кипел нетерпением. События этого дня заметно отразились на его лице. Ядвига, которая обычно видела его спокойным, несмелым и тихим, едва могла узнать. Вошёл, как пьяный, закачался, бормоча что-то непонятное, ему не хватало дыхания, так что должен был немного отдохнуть, прежде чем начал говорить.

Ядвига как можно живей подала ему стакан воды, над которым, может, более необходимым был бы стакан вина, но, оживлённый ей Мицио наконец восстановил речь.

– Смилуйся, пан, над нами, отшельниками! – воскликнула, садясь, Ядзя. – Говори, говори, говори, что делается, если бы не тётка, я бы сто раз уже выбежала на улицу. Из окна мы видели труп.

– Жестокости! – сказал Мечислав. – Вы, должно быть, знаете о процессии, которая шла из Лешна, русские напали на неё перед замком, разбивали кресты, разбивали образы, разогнали похоронную процессию, которая должна была везти умершего из Бернардинов, наконец, выстрелили в безоружный народ и положили трупом много людей. Не знаю, много ли раненых, часть убитых схватил народ и обносит по городу, некоторых положили в Европейском отеле. Возмущение в городе чрезвычайное, русские сами не знают, что предпринять, кажется, что все потеряли головы, однако, до сих пор дело неизвестно, как кончится... много особ арестовали.

Он говорил это прерывающимся голосом, давая какие-то знаки панне Ядвиге, которая только то из них могла понять, что имел что-то поведать ей лично. Но бедная тётка притащилась к самому стулу, на котором сидел Мицио, и, плача, его слушала. Невозможно было от неё избавиться.

– Вижу, что вы умираете с голоду, а ничего не говорите, – сказала Ядвига быстро молодому человеку, – хотя и мы не ели обед, найдётся что-нибудь в буфете, пойдёмте со мной, пан.

Скорупский понял и поспешил за своей проводницей. В другом покое Ядвига остановилась и вопросительно на него посмотрела.

– Ваш знакомый, Юлиуш, опасно ранен, надо его спрятать, чтобы не был схвачен, вы живёте одни, никто его тут искать не будет; имеете какой уголок, чтобы его принять?

– Цыц! Цыц! – живо отрезала Ядвига. – Мой покой на втором этаже, поэтому тётка туда по лестнице зайти не может, отдам ему свою комнату.

– Вы в самом деле ангел, пани.

– Я полька, ничего больше, – отвечала Ядвига.

Говоря это, она достала из кармана ключ, кивнул молодому человеку, чтобы вышел другими дверями, а сама вернулась к тётке.

Её честное сердце не испытывало иного волнения, чем сердечное милосердие и чувство долга, каждая жертва от себя казалось ей простой и естественной вещью, из которой самой маленькой гордости вытягивать не годилось.

Она не задумывалась даже над тем, что, будучи молодой и независимой, притягивала к себе какое-то подозрения в чувстве, которого к раненому Юлиушу не имела, не подумала, что её это компрометировало, говоря обычным языком света. Этот раненый Юлиуш не мог выйти у неё из головы, так героизм его не был на него похож. Она знала его как салонного юношу, легкомысленного и мота, который достаточно настойчиво навязывался ей со своими любезностями, не могла его вообразить себе героем уличного боя, потому что никогда в нём не видела ни малейшего запала.

Однако она сказала себя, что должна была ошибаться, и искренне жалела, что так его оскорбила. Задумчивая, она вошла в салон, припоминая все сцены из романов и повестей, в которых раненые юноши приобретали сердца своих опекунов, и говорила себе, что такой обычной развязки сегодняшней сцены никогда не допустит.

В салоне она застала тётку всю в слезах и ещё молящуюся. Честный пудель Хохлик, который себе вообразил, что сумеет остановить плач старой пани приятной находкой, очень забавно стоял перед ней на двух лапах и служил.

– Моё дорогое дитя, что же это будет? – воскликнула тётя.

– Тётушка, мы достаточно жили во времена мира и прозы, входим в эпоху поэзии, за это на судьбу гневаться не нужно.

– А! Ты моя орлиная натура! – с упрёком отозвалась тётка. – Тебе обязательно необходимо слёз, крови, убийств, геройств, стука и шума, чтобы почувствовать жизнь, а жизнь имеет свою поэзию тишины и блаженного успокоения, которого ты ещё не понимаешь!

– Вы забываете, тётя, что мне нет ещё двадцати лет, что я ничего не видела, ничего не знаю и всего желать имею право!

Когда они так разговаривали, а Хохлик ходил за своей пани, глядя ей в глаза, выглянув в окно, Ядвига заметила дрожку, которая заезжала во двор, мелькнуло в ней лицо довольно бледного Юлиуша, сердце непреднамеренно забилося, был это всё-таки один из героев этого дня...

«Но он такой несимпатичный!» – она мимовольно сказала себе в духе.

– Действительно, есть счастливые люди, вот незаслуженный, от одной пули становится героем, пули иногда безрассудные!!

На лестнице слышались тихие и осторожные шаги, потом ухо Ядвиги уловило щелчок знакомого ей замка, она едва не пожалела о том, что сделала, но устыдилась своего чувства.

– Тётя, – сказала она, – уже сегодня к тебе вниз переселюсь, видя тебя такой беспокойной, предпочитаю быть с тобой вместе.

– Но тебе здесь будет неудобно.

– А! Кому нет двадцати лет, везде удобно!

Слуги принесли обед, который прошёл без охоты к еде, в молчании, прерываемом грустным разговором и подбеганием к окну. Но серый грустный вечер тёмным влажным покровом затянул вскоре улицы города, какая-то зловещая тишина лежала на улицах, едва когда её прерывал стук шибко мчащейся дрожки.

Ядзя сильно беспокоилась полной неосведомлённостью о дальнейших событиях дня, но откуда ей было узнать?

На самом деле, был в этом самом доме где-то под крышей живущий человек, который лучше всех мог о том объяснить, но... был это очень молодой человек, к несчастью, симпатичный юноша, хоть очень приличный, в обществе совсем не салоновый. Одевался очень просто, говорил очень открыто и, как каждую честную душу, которую мир не сокрушил, не

стёр и в свою форму не переделал, его немного боялись. Ни Ядвига, потому что для неё эта простая искренняя натура имела очарование дикого цветка, ни достойная тётя, привыкшая к аристократичным формам, не могли понять его.

Был это ученик творца, душа и сердце художника, влюблённый в искусство, счастливый в своём убожестве, независимости, бедный сирота, но с лучиком гения на челе. Не знаю, каким случаем познакомился он с Ядвигой, которая, попросив его бывать у себя, представила тётке. С той поры тётя ежедневно проговаривала вечером три здравицы Марии по той причине, чтобы с этого какой авантюры не было. Она воображала себе, что этой разновидности молодые люди есть самыми опасными, была, может отчасти права, но ошибалась в том, что боялась назойливости и настойчивости, где чаще всего встречала несмелость и самую дикую гордость.

Кароль Глинский, несмотря на показываемые ему панной Ядвигой уважение и симпатию, неизмерно редко показывался в салоне. Может, испуганный и холодный взгляд тётки его остерегал, может, боялся быть заподозренным в каком-то намерении, бедному сердцу несвойственном, может, наконец, было для него отвратительно общество наряженной молодёжи, легкомысленной и занятой бесстыдной охотой за приданым богатой наследницы. Инстинктом женщины, предчувствием сердца Ядвига знала, что Кароль не мог быть чуждым тому, что делалось в городе, что должен был ко всему принадлежать и всё знать. Ей крайне хотелось послать камердинера и просить его к себе под каким-нибудь предлогом, не знала только, как объяснить это тётке и позволение получить. Она долго крутилась с этой мыслью, а, не привыкшая к молчанию и прикидыванию, в конце концов выпальнула:

– Но как же мы так можем удержаться в полной неизвестности, по правде говоря, заснуть будет невозможно! Я обязательно должна узнать, хотя бы должна была послать за паном Каролем, – добавила она тише, немного зарумянившись.

– Но ты могла бы послать за кем-то другим, – отозвалась тётка, – за князем Л. или за графом К., признаюсь, что это было бы приличней.

– Когда ты так говоришь, тётя, – живо отозвалась Ядвига, – то пусть я однажды узнаю, что ты имеешь против Кароля?

– А! Я ничего против него не имею, может, это очень достойный молодой человек, но видишь, моя дорогая, это не вполне подходящее тебе знакомство. Молодой человек – бедный, не нашего света, не из нашего общества, ты его как-то подбадриваешь, готова вскрыжить ему голову.

– Будьте спокойны, тётя, скорее у всех франтов закружатся головы, чем у него, он более гордый, чем испанский гранд и потому что я богатая, а он бедный, никогда обо мне не подумает.

Тётка слегка усмехнулась.

– Ну, ну, делай как хочешь, я тебе не прекословлю.

Как стрела побежала Ядвига к колокольчику, Хохлик, лая, за ней, вошёл камердинер, которому велели пойти просить пана Кароля, пёс выскользнул за ним.

Спустя немного времени потом дверь отворилась и сперва показался Хохлик с очень триумфующей миной, тянущий за полу чамарки пана Кароля, за ним сам обжалованный. На лице прибывшего, мужественном, честном, энергичном в эти минуты отражалось всё беспокойство, всё волнение, каких события этого дня на каждом должны были оставить след.

– Я очень сильно извиняюсь, пан, – подавая ему руку, сказала Ядвига, – но невозможно выдержать в этой глухой тишине ничего не зная, ради Бога, что же произошло? Как это кончилось?

– Ведь вы знаете, пани, – сказал спокойно Кароль, – об утренних событиях, о стрельбе в людей?

– Только это мы и знаем, – ответила Ядвига, – а дальше?

– Трудно это объяснить, но кажется, что или Горчаков испугался, или пришли какие-то приказы, но смягчились, народ сложил тела убитых и стережёт в Европейском отеле, очень много, возможно, русские утопили, говорят о многих раненых.

Ядвига покраснела.

– Город в эти минуты выбрал делегацию, которая поехала к Горчакову, есть в ней купцы, мещане, духовные, журналисты, которые испугаться не должны. У Замойского обдумывают письмо императору, но это ни к чему не пригодится. Московское войско как бы получило приказы, сохраняет спокойствие и, кажется, ни в чего не вмешивается... остальное завтра покажет.

– Как это? – воскликнула Ядвига. – И всё это должно бы кончиться поцелуем согласия?

Кароль серьёзно усмехнулся.

– Не знаю, дела так сегодня обстоят, что ничего пророчить нельзя. Не кажется мне, однако, чтобы это великое волнение сердец и умов, дало себя какими-то половинчатыми средствами остановить. Страна раздражена не одной этой минутой, но призывом долгих лет; не удовлетворится чем-либо. На сегодня, однако, будьте спокойны, дамы, ночь пройдёт тихо.

– Но что же, пан, вы, пожалуй, считаете меня за трусиху, я вовсе не боюсь, для меня речь идёт о стране, о Польше, о будущем, вы мне как ребёнку колеблете надежду на тишину и мир!

– Потому что, в самом деле, ничего больше в эти минуты поведать не могу, а завтра тысячью заслон закрыто.

Ещё ненадолго её заняв, Кароль, который был прямой, как на шпильках, попрощался и вышел.

Ядвига повела за ним глазами, пудель, который к нему ластился и лизал ему руки, как бы хотел его вернуть и задержать, проводил его даже до двери.

– Видите, тётя, какой скромный, какой приличный, а я скажу, гораздо лучшего образования, чем те, что тут у нас парижанам уподобляются. Я имела ловкость убедиться, что больше благородных чувств и деликатности в людях, которых это мнимое хорошее образование не испортило, чем, увы! в тех, что к цвету общества себя причисляют.

Тётка вздохнула.

– Ты видишь в нём все совершенства, а меня это пугает!

Позже обе смеялись над этим страхом и над той симпатией, долго разговаривали, пока тётя не начала позёвывать, и после полуночи потребовала пойти почивать. Ядвиге приходило в голову проведать своего пациента, но какое-то странное чувство отвращения её сдерживало, послала только доверенную служанку и всё, что было нужно больному.

* * *

Панна Ядвига совсем не могла объяснить себе того отвращения, какое чувствовала к герою, запертому в её покоях. При своём эгоистичном и смелом характере она бы, наверное, сто раз побежала к нему на помощь; какая-то неведомая сила останавливала её. Обдумав всё, что было нужно для удобства больного, собрав свои вещи и найдя повод остаться при тётке, дала ему спокойно болеть, не очень о нём заботясь.

Может, также влюблённые раненые, которых столько встречается в романах, отвратительно ординарным делали для неё этот случай. Не хотела быть героиней из романа и то ещё банальной и избитой. На самом деле, и пан Юлиуш не очень заслуживал сочувствия, принадлежал к тому свету панычей, над которым Ядвига безжалостно насмехалась. Скорее француз, чем поляк, человек без каких-либо убеждений, изношенный и выжитый, был для неё идеалом антипатичного существа. Жить начал в очень молодом возрасте, в двадцать пять лет был уже старый, холодный, а, что хуже всего, лживый.

С горячим почитанием правды Ядвига в душе гнушалась всякой ложью, а находила её не только в словах этого человека, но в его движениях, физиономии, обхождении, взгляде. Сухой, высокий, блондин, пан Юлиуш, может, был бы приличным, если бы хотел быть собой, но, казалось, постоянно кому-то подражает, играет чью-то роль и невыносимо её перенимает.

Панна Целина, горничная Ядвиги, сразу неизмерно занялась судьбой больного, она бегала неустанно к пани, желая её также заинтересовать, совсем это, однако, не удавалось.

По прошествии десяти дней Мицио пришёл поблагодарить панну Ядвигу за схождение, данное приятелю, который, хотя не вполне здоровый, должен был в этот день выехать в новое жилище, а позже сам прийти поблагодарить её за участие.

Возвращаясь в свои апартаменты, Ядзя нашла на столе гигантский букет и как бы забытый стих, ясно вдохновлённый самым нежным чувством. Поэзия была не очень плохой, а даже чересчур хорошей, чтобы её можно было приписать пану Юлиушу. Заподозрила его в плагиате, но, однако, стих сохранила.

Вся эта история какое-то неприятное произвела на неё впечатление. Почему? Этого не могла себе объяснить. Может, также и тот разговор в дни, когда все забывали о себе, казался ей неуместным... было в нём слишком много цинизма.

В день принесения пана Юлиуша она заметила, что у Целины были красные глаза, она была очень задумчивой и молчаливой, что странно, через две недели потом пожелала выехать к родственникам, а, несмотря на это, Ядвига видела её часто проезжающую мимо окон и до избытка наряженную.

О пане Юлиуше и его ране никто в городе, казалось, не знал, приятели так это держали в тайне, что благородная эта жертва от всего мира была закрыта. Даже тётя вовсе не догадалась об этом благородном поступке Ядвиги.

* * *

Среди той горячки, которая продолжалась до 8 апреля, редко кто мог удержаться в полном спокойствии духа. Наименее опытным глазам уже были видны последствия начатой борьбы. Временно дарованные свободы явно покрывали уже решённую сильную репрессию, самый лёгкий повод мог привести к ней. Были, однако, такие наивные, такие достойные и честные люди, которым казалось, что вынужденная Москва уступит без боя, а страна восстановит независимость без кровопролития... Сейчас, когда мы это пишем, это убеждение представляется нам смешным, однако же, мы записываем его, потому что его разделяло много самых серьёзных умов. Самые честные люди, не в состоянии допустить, чтобы правительство могло подхватить насильственные и незаконные средства, оценивая его лучше, чем заслуживало, не видели иного конца, только добровольное отступление москалей. Слышали это пророчество из уст самых серьёзных, особенно старших людей, поскольку молодёжь видела перед собой неизбежность боя и стремилась к нему. Несмотря на то, что умы были взволнованы почти исключительно общим делом, людские дела шли своим чередом.

В частных домах, если шумно не развлекались, собирались с более живой, может, заинтересованностью на беседы, чем раньше на танец и музыку. Молодёжь горела, у старших струились слёзы из глаз, а пугливые боялись показать страх и прикидывались мужественными.

Салон панны Ядвиги был всегда полон, а как обычно в подобные времена товарищеские отношения были более лёгкими, знакомства более быстрыми, а здесь это чувствовалось в большем разнообразии личностей и свободе движений.

Миллионы панны Ядвига всегда привлекали многих поклонников из того света, что для денег работать не умеет и не хочет, и рад бы их добыть хотя бы продажей. Не мало было панычей, но эти как-то с каждым днём чувствовали себя менее свободными.

Ядвига всё отчётливей притягивалась к иному свету, в котором находила больше огня и жизни. Приглашала не только Кароля, но его и товарищей и приятелей, лишь бы только о движении, о прогрессе патриотических усилий доведаться. Тётка, которая поначалу сопротивлялась этому, наконец, подхваченная чувством, смирилась. Почти ежедневно во время чая проскальзывало множество особ через салон панны Ядвига, ибо она тут была настоящей хозяйкой.

Как раз в один из этих вечеров, о которых мы говорим, толпа была больше, чем в предыдущие дни; вокруг чайного столика засела вся молодёжь, известная нам уже и неизвестная. Красивый пан Эдвард, граф Альберт, уважаемый Дунио, пан Мечислав, бледный Юлиуш и много иных. Станным случаем рядом с этими надушенными людьми были и жители третьего этажа, Кароль Глинский, один ученик Школы Изобразительных Искусств, молодой аспирант на врача и несколько равно скромных личностей.

Естественно, общество в единое целое сбиться не могло, несмотря на попытки панны Ядвига, которая желала заключить унию аристократии с демократией. Панычи были вежливы, но холодны, демократы – невежливы и горячи. Принуждённые сохранять определённые формы, выламывались из них тихими шепотами и многозначительными полусмешками. С некоторым превосходством паны соизволили разговаривать с молодёжью, но и эту милость тоном разговора давали почувствовать.

Правда, второе марта заложило условия этого великого воссоединения всех сословий, вер и убеждений, но гораздо легче было соединить шляхтича с израильтянином и холопа с паном, чем салоновых людей с улицей. На поле теории был это факт совершённый, но в жизни отзывались старые грехи, противоречили принципы, взгляды, вкусы, всё даже до фигуры и костюмов. Панычи плохо скрывали своё недовольство событиями, с каждым шагом упрекая их в преувеличении, страсти и детской горячке.

– Мои господа, – отозвалась Ядвига, поворачиваясь к Каролю, к которому имела особенные взгляды, – скажите мне, как это всё окончится? Простите, но я совсем как молодая панинка, которая, начав читать занимательный роман, желает как можно скорее узнать, пойдёт ли героиня за любимого.

Граф Альберт, которому всегда было важно поблистать великим умом и затмить всех речью, хоть вопрос совсем к нему не относился, первый взял голос; Ядвига с выражением удивления повернулась к нему.

– Мне кажется, – сказал он, – что эмпирическое суждение о событиях никогда не даёт удовлетворяющих выводов, нужно бежать к тем надёжным формулам, вытянутым из опыта, которым я, как таблице логарифмов, обязательно даю решение.

Мы не являемся ни исключением из правил, управляющих миром, ни находимся в совсем беспримерном положении, поэтому, найдя подходящие к ситуации слова, мы найдём решение вопроса. Наш век есть прежде всего эпохой спокойного развития всех внутренних сил, эпохой мирных работ, промышленности, торговли, искусства, наук. Таким образом, великие катаклизмы, которые бы стояли препятствием этой жизни, которые коснулись бы тысячи материальных и духовных дел, для нашего века невозможны.

Допущенное временное замешательство у нас или в другом месте (это в другом месте доказывало чрезвычайную осторожность говорящего), какие будет иметь неотъемлемые последствия? Вот угроза во всех органах европейской жизни, вот принуждение Европы к деятельному вмешательству в собственные дела. Предположим, что происходит восстание, которое может разбудить во всей Европе революционные элементы, вся Европа заинтересована, чтобы ему не дать продолжаться.

– В силу этой теории, – прервал Кароль, – видится, что, если бы у нас что-то сделалось, Пруссия и Австрия посодействовали бы удушению, а остальная Европа похлопала бы защитникам мира и порядка.

– Ты не вполне понял мою мысль, пан, – ответил граф Альберт, даже не глядя на того, кто говорил.

– Но и вы, граф, не вполне ответили на мой вопрос, – добавила Ядвига. – Речь о том, восстанет ли Польша, чтобы порвать свои узы или насыпать себе гигантскую могилу, о том, найдём ли мы, угнетённые, измученные, закованные, униженные, в себе столько сил, чтобы дать знать миру, что мы не труп. О последнем акте этой великой драмы не людей, я должна бы спросить, пожалуй, Бога, потому что он один знает, как кончаются эти героические бои. Или троянским уничтожением, или прозаично смешным возрождением Греции с Баварией, или чудесным воскрешением Италии. Я боюсь не этой смерти на кресте и в муках, что даёт апофеоз мученикам, но окончательного унижения и предсмертных конвульсий без стоны и власти...

Эти слова она произнесла с таким запалом, что её глаза засияли от слёз, была прекрасна, как вдохновлённая жрица.

– Этим вопросом, – быстро сказал Кароль, – вы бы вырвали из души закрытый за семью печатями ответ, если бы он, пани, в эти минуты не был изменой. Пани! Не годится спрашивать об этом!

Он замолчал, Ядвига покраснела и подала ему руку, как бы хотела попросить прощения. Кислая улыбка пролетела по устам графа Альберта, который позавидовал плебею в этой белой руке и сказал с иронией:

– Предостережение, которое вы, пани, получили, такое важное, как ответ, вы правильно его поняли?

– Так хорошо, – отпарировала Ядвига, – что ни о чём больше не спрашиваю.

– А вопросов эпоха поставляет тысячи, – живо подхватил граф Альберт, – чтобы не потерять ловкости обсуждения.

– Например? – спросила Ядвига.

– Что же это? Мы играем в вопросы и ответы? – с некой насмешкой, приближаясь, сказал с расстановкой пан Юлиуш. – Это очень забавная игра, а так как траур в моде и танцы запрещены... *les petits jeux innocents*⁷ весьма вовремя.

Тон, какой с некоторого времени давал Юлиуш, совсем не нравился Ядвиге, видимо, своим обхождением он пытался дать понять обществу, что имел в этом доме некоторые права, попросту говоря, что был или нареченным, или очень близким к браку с Ядвигой. Она заметила эту странную перемену в Юлиуше с того времени, как он выздоровел, ей на мысль пришло, что он мог воспользоваться благородно разрешенным пребыванием недостойным образом, её это так сильно возмущало, что она всевозможными способами старалась ему показать не только равнодушие, но почти отвращение, Юлиуш, однако, словно этого не видел или вовсе не понимал, не изменил поведения, принимал он то какой-то странный фамильярный тон, то важный и покровительственный, то почти насмешливый, то превратно увеличенно любовный и нежный. Ничто его не отталкивало, как если бы был слишком уверен в чувствах Ядвиги, и на такие мелочи или временные странности вовсе не обращал внимания. Его поведение было так дерзко рассчитано, что легко могло ввести в заблуждение.

Гордая душа Ядвиги возмущалась этому натиску, этому коварству, со странным макияжем выдуманному. С давнего времени она решила дать ему почувствовать в окружении чужих неправильность его поведения, подходили хорошие обстоятельства, свидетелей было достаточно, а состояние души располагало к смелому слову.

⁷ Невинные игрушки (фр.)

Юлиуш оперся о подлокотники её стула, а лицо его вызывало у мужчин оскорбления, у женщины, по крайней мере, равные ему слова. Ядвига зарумянилась как вишня, её глаза воспламенились гневом, стиснула уста, но выходка Юлиуша не была ещё достаточной, чтобы вызвать выговор.

– Действительно, – отвечала она, – игра в вопросы и ответы – отличная, я её очень люблю, если бы мне, однако, пришлось вам задать вопрос, относительно вас, не могла бы спросить вас ни о чём ином, как о том, где вы, пан, были воспитаны?

Юлиуш сильно зарумянился, всё общество услышало ответ Ядвиги и в демократичной кучке послышались лёгкие смешки, как сгорающий пороховой заряд. Паныч чувствовал себя обязанным отразить удар, но в первые минуты не нашёл слов.

– Вы, пани, находите это воспитание недостаточным? – сказал он, заикаясь.

– По крайней мере, очень оригинальным, – ответила Ядвига.

– Оригинальность является такой редкой, – сказал Юлиуш, – что это может сойти почти за похвалу.

Говорил он это стульчику, потому что Ядвига, не дожидаясь ответа, повернувшись к нему спиной, пошла к тётке. Юлиуш остался довольно смущённый, склонившийся над подлокотниками и выставленный на смех. Каждый иной, менее выжитый и немного более чувствительный, взялся бы не спеша за шляпу, вышел бы потихоньку из салона и больше в него не вернулся.

Юлиуш, разгневанный, побледневший, но отличный актёр, побежал, делая вид, что смеётся, за Ядвигой, что-то шепнул ей в очень фамильярной позе и придал этому всему исключительный характер маленькой ссоры любовников, которые так часто не взвешивают слова и не боятся между собой поведать что-нибудь острое, зная, как любят друг друга.

Этот поступок затронул Ядвигу почти до слёз, сказала про себя: «Кто же меня освободить от этого человека?» А глаза её невольно обратились в сторону Кароля, лицо которого выражало одновременно возмущение и сострадание.

Ядвига, не долго думая, пошла прямо к нему и почти вынудила его, беря на прогулку по салону для долгого разговора один на один. К несчастью, эта стратегия поначалу не была успешной, для холодных свидетелей могло это походить на каприз для пробуждения ревности в нареченном, – Юлиан этим воспользовался и с великим уважением приласкался к тётке, приобретая себе её милость. Однако же через минуту, шепнув что-то графу Альберту, он скромно вышел из салона. Вечер был поздний и другие тоже постепенно ушли. Товарищи и приятели Кароля собрались у него на весьма скромный холостяцкий перекус. Панычи, приглашённые Юлиушем, пошли в Английский отель на заказанный им ужин; но та судьба, которую незаслуженно называют слепой, пожелала, чтобы почти одновременно с панычами и Кароль был вызван прибывшим из провинции обывателем в Английский отель, бросил своих гостей и побежал по обязанностям.

По дороге будет нелишне набросать тут характеристику этой гостиницы, некогда наследства Гусировских, которая имела счастье быть временным пристанищем императора Наполеона, возвращающегося из Москвы. До сих пор внизу показывают комнату, у камина в которой он отогревался после московских морозов. Аж до постройки Европейского отеля Английский считался за очень *fashionable* и *comfortable*, и даже после постройки Европейского, кухня Букерела оставалась самой изысканной в Варшаве. Может, поэтому, москали, которые и любят поесть, и рады бы убедить мир, что сырым мясом не живут, несмотря на дороговизну кухни, тут чаще всего собирались на обеды и ужины. Люди, любящие покой и заботящиеся о том, чтобы их полиция видела добрым оком, также сюда охотно прибывали; есть у Букерела относилось к хорошему тону. Потихоньку нужно добавить, что под крыльях хорошо установленной репутации Английского отеля иногда прятался не один, что от подзрительных глаз правительства желал уйти. Секретные агенты не догадывались, что рядом

со столиком, за которым пил шампанское офицер гвардии, создавали заговоры как можно лучше при бутылке красного вина.

Именно, когда паньчи пировали при открытых дверях в последнем кабинете от столовой залы, Кароль на пороге совещался с молодым человеком, одежда которого указывала недавно прибывшего из провинции крестьянина.

В прилегающем покое Юлиуш, рассевшись в кресле, в очень хорошем настроении приглашал своих гостей на каплуна с трюфелями, которого триумфально внесли. Вокруг стола сидели граф Альберт, Мицио, Дунио, пан Эдвард и недавно приглашённый Генрик Грос.

– Ну, – сказал последний, наливая себе бокал вина, – что скажете о событиях? Мы, старые, ничего этого не понимаем, расчёты обманывают, а самые непостоянные надежды реализуются как бы чудом.

– Я не удивляюсь, – ответил Альберт, всегда жадный до речи, – что самые серьёзные умы дают ввести себя в заблуждение случившимся. Впечатление настоящего такое сильное, что временно на будущее ослепляет; но всё-таки для умов более благоразумных будущее есть страшным. Я в сотый раз повторяю: нужно было идти постепенно, скромно, удерживаясь в границах возможного, нужно было как умные венгры ждать, терпеть и всего на карту не ставить.

– Ты сто раз прав, – сказал Юлиуш, – это всё работа молокососов и борцов с идеями, незрелая, недожаренная, которая нам всем может дорого стоить. Не знаю, слышали вы, пань, приехал сюда из Хробра маркграф Вилепольский с сыном Сигизмундом. Человек, как известно, сильной интеллигенции, настоящий государственный муж, может, единственный в Польше, привёз с собой очень разумный проект, предложил сам ехать с ним в Петербург; Сигизмунд мне его читал. Что скажете, господа? Не приняли его, требовали поправок, и маркграф, разгневанный, выехал опять в Хробру.

– Невелика проблема! – сказал Генрик. – Нечего о том говорить.

– Как это? – отозвался Эдвард, первый раз отваживаясь на публичное выступление со своими убеждениями. – Есть о чём говорить; ежедневно овладевает страной какая-то неизвестная молодёжь, спихивает более серьёзных людей и тянет народ за собой в пропасть.

– Но не нужно снова преувеличивать, – сказал Альберт, – всё это окончится на сильных побоях, которые эти пань получают. В любой день выступят против них и раздавят...

Генрик начал сильно смеяться, посмотрели на него, но, спрошенный о причине, пожал плечами и ничего не отвечал.

– Между тем, – сказал Юлиуш, – это есть для нас вещью очень неприятной, эта суматоха, которая смешивает человеку все его занятия и проекты. Люди приличные и спокойные терпят, а, в конце концов, и зрелище этих безумств невыносимо. Меня это раздражает до наивысшей степени.

– Я понимаю это, – сказал Грос, – все поклонники панны Ядвиги, которая, как слышал, больше родиной занята, чем ими, должны проклинать дело страны ради дела сердца. Но, раз о том говорилось, – добавил он, поглядывая на сидящих за столом, – как же там мои пань? Кому счастье служит?

Глаза собравшихся направились на пана Юлиуша, который сделал мину скромняги нежелающего хвалиться, но уверенного в себе.

– Потому что разное по свету болтают, – продолжал далее Грос, – одни утверждают, что панна Ядвига влюблена в пана Эдварда и старательно скрывает это чувство, дабы о нём свет не догадался, другие подозревают пана Мечислава, что вкрался в её сердце, иные говорят, что читает Рошера, чтобы понравиться графу Альберту, а есть те, что утверждают, что пан Юлиуш уже после обручения, ну, как же? Будем искренними?!

– Тогда мне кажется, – сказал не спеша Альберт, – что дело сердца панны Ядвиги, как дело страны, до сих пор неразрешено.

– Ты хотел бы через это дать понять, – подхватил Грос, – что и тут также овладеет какой-нибудь плембей?

– Не ожидаю, – сказал Альберт, – это возвышенный ум...

– Но любят не умом, – ответил Грос, – а, по крайней мере, не одним умом, рычагом к любви будет всегда сердце; иногда на этом рычаге только сгорит и дальше не пойдёт, а настоящая любовь должна прийти в итоге и к уму, только с него не начинается.

Во время этого разговора Юлиуш подпевал, насмешливо поглядывал, казалось, что хотел что-то сказать и удерживал слова, наконец решительно сказал:

– Действительно, это особенная вещь, как слепы люди, когда видеть не хотят.

Эти слова, выходящие из его уст, были полны значения.

– Но, – сказал обиженный граф Альберт, – случается, что пожелаешь, видится то, чего нет, и чего только требуется.

– Ты так думаешь? – сказал Юлиуш и снова сильно стал смеяться.

Его молчание и полуслова на более равнодушных, может, такого не произвели бы впечатления, но, за исключением Гроса, все были более или менее влюблены в панну Ядвигу и немного надеялись.

Каждому казалось, что ледяное сердце растопится. Граф Альберт больше рассчитывал на помощь Бастиата, Мицио был покорный, и думал, что энергичной женщине он пригодится как мягкая подушка, Дунио рассчитывал на своё остроумие, ловкость, смекалку, Эдвард – на красивые личико, белые ручки, элегантность, хороший тон и прекрасную фигуру, какую бы имел, сев в карету за кринолином жены. Каждый из этих панов заблуждался, что сможет её покорить каким-то очарованием, это внезапное выступление Юлиуша как бы с некоторым триумфом задело всех.

– Мой Юлиуш, – сказал Альберт, – кажется, как если бы ты уже имел панну в кармане, признаюсь, что меня это очень удивляет, но если так, позволь тебя поздравить и открой же нам искренно это твоё счастье...

Граф Альберт не закончил, ужин уже дошёл до шампанского, в головах немного шумело, Юлиуш молча много пил, был, поэтому, может быть, в том состоянии возбуждения, в котором не так рассчитываешь слова.

– Господа, вы понимаете, – сказал он, – что галантность иногда вынуждает к молчанию особыми соображениями.

– Мы отлично это понимаем, – воскликнул Альберт, – когда речь идёт о браке, потому что я уже не надеюсь, что он мог бы быть морганатическим.

– Но до определённого времени, – отпарировал Юлиуш, – может быть нужна тайна.

– В таком случае, – произнёс Грос, – разреши тебе поведать, что её немного лучше следует хранить. Хоть не говоришь ничего, но поведал всё.

– А мне кажется, – прервал порывисто Эдвард, – который аж раскраснелся, – что то, что пан Юлиуш рассказал, и что смолчал, есть просто шуткой над всеми нами.

– Я никогда не шучу, – сказал Юлиуш серьёзно.

– Ежели так, – ответил Эдвард, вдруг вставая из-за стола, – то меня, пан, вынуждаешь сказать, что, то, что даёшь нам понять, попросту – неправда.

– О! Это грубо, – сказал Грос, смеясь.

Юлиуш закусил губу, глаза его загорелись, он посмотрел на Эдварда и медленно произнёс:

– Я мог бы страшно возмутиться на обвинение меня во лжи, но молодость пана Эдварда является оправданием его неблагоразумия, не буду даже гневаться. Я вынужден отнести к неделикатности обвинение меня во лжи, а поэтому прошу закрыть двери, я приведу убеждающие доказательства, что, говоря с такой уверенностью о моих отношениях с панной Ядвигой, я имел на это полное право.

Именно, когда Юлиаш проговорил *закрывать двери*, глаза собеседников обратились к ним и увидели на пороге стоящую фигуру Кароля, серьёзную и грозную.

– С вашего позволения, – отозвался Кароль, – двери останутся открытыми, как были, когда вы, господа, говоря плохо и неосторожно о женщине, допустили к вашим секретам всех гостей трактира и даже кельнеров. Не я один, но несколько особ, вовсе не думая подслушивать, слышали обвинение пана Юлиуша. Я имею счастье быть допущенным к этому дому, о котором была речь, чувствую обязанность, как расположенный к нему, вмешаться в это дело и потребовать объяснений.

Эдвард, который был не без некоторого расчёта, сам метил в защитники, был очень недоволен, что нашёлся другой. Кароль казался таким грозным, что дело лишь бы чем окончиться не могло.

Юлиуш, однако, попробовал по-пански дать ему отказ.

– Что же это? Я требую? – проговорил он. – Я вас не знаю и не от кого ни наук, ни приказов не принимаю!

– В таком случае, – сказал Кароль спокойно, – ты можешь быть вынужден принять то, что будет болезненней, чем наука и предостережение.

Юлиуш вскочил, яростный, со стула, и воскликнул:

– Я не нуждаюсь в объяснениях, всё-таки Ядвига будет моей, должна ей быть! У меня тут за столом свидетель, которого вызываю на честь, чтобы ответил мне на один вопрос: так или нет? Я жил в комнате панны Ядвиги, укрытый в течение десяти дней, да или нет? Пана Мечислав?

Мицио побледнел, схватился за голову, опустил глаза и сказал только потихоньку, берясь за шляпу:

– Конечно!

Кароль, который стоял на пороге, страшно побледнел, явно притормаживал себя, но, в итоге, не в состоянии сдержаться, воскликнул громовым голосом, бросая перчатку под ноги Юлиуша.

Хладнокровие человека, на которого так нападали, было по-настоящему удивительным.

– Поединок – это обычай чисто шляхетский. Разве ты шляхтич? – спросил он Кароля.

– Нет, – отвечал Кароль, дрожа, – но в обычае мещан, как я, есть палка, которой клеветникам голову раскалывают.

Говоря это, он плюнул, пожал плечами и помаленьку ушёл.

Юлиуш за ним не гнался. Эдвард стоял, думал и сказал наконец:

– Я, я – шляхтич.

– Но ты сопляк, – сказал презрительно Юлиуш, – впрочем, если хочешь биться, то пришли мне своих секундантов, поговорим.

В эти минуты они уже остались почти один на один, потому что остальные, видя неприятное дело, которое из прилегающей залы прослушивалось и просматривалось, втихаря вышли.

Назавтра говорили, а пан Эдвард умел с этим очень ловко соглашаться, что между ним и паном Юлиушем произошла встреча в леске под Маринионтом. Самым несчастливым на свете случаем пан Эдвард был легко проткнут шпагой в ногу, а Юлиуш ушёл целым.

Этот случай, несмотря на занятость всех общим делом, разошёлся в самых разнообразных рассказах по всей Варшаве, обратил внимание на Ядвигу, дал повод для слухов и поднял пана Эдварда больше, чем заслуживал. Легко догадаться, что Кароль из своего поведения вовсе славы не искал, что о нём замолчали, что вся благодарность панны Ядвиги лилась на того элегантного Эдзия, который с великой скромностью скрывал поединок и рану, но таким образом, что всем о них рассказывал под самым строгим секретом.

Друзья дома, испуганные оглаской, прибежали к тётке с советом и утешением. Можно себе представить, какое впечатление это произвело на слабую женщину, она чувствовала, что вина этого всего падает большей частью на неё, донимала её собственная непутёвость, которую чувствовала, а выйти из неё не могла, для бедной женщины было это страшным мучением – чувствовать свою слабость и не уметь с нею справиться, видеть за ней наказанным невинное существо и не мочь, хотя бы пожертвованием жизни, выкупить её счастье и покой.

Но насколько тётка была прибитой и несчастной, настолько Ядзя холодной и более возвышенной над ударом, который её достигает!

Ни одной женщине равнодушными быть не могут её добрая слава и уважение света, но только слабые умы, не чувствуя вины, бояться клеветы. Ядвига снесла холод, который её всюду охватывал, с улыбкой сожаления и геройской бесчувственностью. Юлиуш, который, может, рассчитывал, что, оставленная всеми, позволит ему объясниться в великой любви, простит и подаст руку, сильно в этом сомневался. Раз и навсегда ему запретили доступ домой. Пана Эдварда Ядвига поблагодарила как вежливого ребёнка, который хорошо выучил лекции. О Кароле она ничего не знала, через несколько недель, когда тётка ещё плакала в уголке, Ядвига с сияющим лицом пришла поцеловать ей руку.

– Вы знаете что, тётя, – сказала она серьёзно, – прошу меня только терпеливо выслушать. Разными дорогами судьба ведёт человека к его предназначению, всё, что случилось, случилось отлично. В одну минуту из легкомысленной девушки я стала взрослой женщиной, я узнала, что тот свет и люди, в кругу которых я должна жить, не созданы для меня; более благородные, более высокие чувства, нежели старание о моём собственном будущем, всю меня охватывают. В таких случаях, как сегодняшний, роль женщины может быть неизмеримой, она свободна от подозрений, почти всегда свободна от наказания, всюду может войти, делать секреты, влияние своё на людей использовать для страны, красоту, какую имеет, обратить для приобщения остывших, свой запал влить в грудь равнодушных. Не хочу быть громкой героиней, но тихой работницей быть должна. Чувствую, что это моё предназначение. Те люди, причиняя мне вред, сделали много хорошего. Ясно вижу мой долг к Польше, у меня есть молодость, сила духа, состояние, я подаюсь в ряды заговорщиков, и пусть живёт Польша! Хотя бы мы должны были погибнуть!

Говоря это, она испугалась, взяла крестик, висевший на груди, поцеловала его и решительно воскликнула:

– Тётя, ничто меня от этого не отведёт! Клянусь!!

* * *

Действительно, трудной будет задача историка, который захочет нарисовать историю этих нескольких лет. Мы, что были живыми их свидетелями, что вдыхали ту вулканическую атмосферу, сегодня уже не уверены в своих впечатлениях; был ли это лихорадочный сон, или реальность, полная чудес и удивительных вещей? Человек, немного отдалённый от этого времени, знающий о нём только по рассказам и сухим книжным отчётам, никогда не сможет обрисовать живей физиогномию, такую переменчивую и подвижную, такую полную метаморфоз и чудес. Из скелета той истории о её характере совсем ничего нельзя будет ни узнать, ни через аналогию угадать.

Этот исторический период такой необычный, что подобного мы бы напрасно искали с своей и чужой истории. Когда палачам могло показаться, что этот народ столькими безрезультатными ударами наконец добились, он встаёт из могил, безоружный, но с грудью, которая пышет мстью, встаёт живой, сильный, непобеждённый и добивающийся нового мучениче-

ства. Кроме того чуда воскресения, есть другая, не меньшая: глупости и бессильной ярости палачей.

Россия, о прогрессе которой, росте могущества, прилежности образования и силах всякого рода, столько писали и говорили, что наконец её приняли в Европе за аксиому, Россия в связи с этими событиями показывает себя неэффективной, слабой, по-детски гордой и во всём своём варварстве, как если бы Пётр Великий не брил ей бород и сарафаны не обрехал. Её великие мужи, статисты, вожди, всё, что противостоит Польше, есть таким бедным и плохим, таким дико-варварским, что нужно удивляться ничтожеству этой мнимой силы, которая ясно олицетворяется в её первых представителях.

Мы бы сказали, что теряют голову, если бы можно было потерять то, чего нет; но, по меньшей мере, выглядят татарами, которые завоевали страну своей цивилизацией и жизнью, совсем для них непонятный. Татарская гордость при татарском варварстве, татарская дикость и слепота. Рядом с этим в каком-то блеске выступает народ, вдохновлённая молодёжь которого начинает отчаянную борьбу; какой чудесный инстинкт сопротивления, какая неслыханная настойчивость действия, что за инстинктивная точность в выборе средств, какой подход в развитии всего дела! Есть в этом больше, чем гнѣтом приобретѣнная сила, есть явное провиденциальное дело, Божье; есть неумолимая справедливость судеб, которые ни одному преступлению уйти безнаказанно не дают. Несмотря на все эти победы, которыми хвалится Москва, по её дикой мстительности видно унижение, какое испытала, по её варварскому безумию, которое издевается над безоружными, мстит на старцах, женщинах и детях, видна беспомощность и неверие в своё будущее.

В первых начинаниях никто ещё не понимал великой важности фактов, каждую минуту казалось, что силы исчерпаются, что после великого их напряжения наступит полная прострация, не привязывали также чрезвычайного значения множеству мелких, но характерных признаков. Одинаково правительство, как и партия умеренных, были уверены, что, давая немного, удовлетворяя самые сильные потребности, обещая на будущее что-то туманное, а в то же время сурово наказывая и пугая преследованием, вводят всё в рамки прежнего порядка. 8 апреля премилой французской речью адъютант Горчакова, барон М. заклинал его, целуя руки, чтобы хоть кварту крови больному для оздоровления пустить! Пускали эту кровь вполне с таким эффектом, как итальянские доктора Гавору, потому что с каждым её приливом эта болезнь увеличивалась.

Маркграф Велипольский, впечатления которого о 8 апреля («В кровавом столкновении спасѣнный порядок!») останется в истории наравне со словами Себастьяна; маркграф с каждым расстрелом и повешением льстил себе, что это будет последнее. Его придворные приносили ему вести об утешающих симптомах, он сам заблуждался уже успехом и триумфовал в начале стычки, когда вспыхнуло восстание.

Несмотря на чрезвычайные усилия и неслыханное выискивание средств российским правительством, события шли тропой неумолимой фатальности. После торжественных похорон 2 марта, которые до высшей степени подняли народный дух, Горчаков⁸, вымолив мир прокламациями, в которых первый раз за долгое время появилось правительственное признание Польши и поляков, пытался потерянную красоту власти восстановить, но напрасно ласкали и грозили попеременно, отпускали поводы и натягивали их, всё было безрезультатно, дух покорить себя не давал, народное дело развивалось и росло. Признаки состояния умов были такие многочисленные и такие разнообразные, что, когда правительство одним ставило преграды, вся сила переходила в другие. Когда закрывали улицы, отворялись костѣлы; когда запрещали говорить или петь, когда не разрешено было поднять голос,

⁸ Михаил Дмитриевич Горчаков (1793–1861). Наместник Царства Польского.

говорили одеждой, цветами её, трауром. Тут можно было выучить, как много языков имеет боль и любовь!

Постепенно в самые боязливые сердца входила отвага, сразу маленький кружок горячих расширялся и распространялся, все сословия, всякий пол и возраст приносили сюда дань к нему, согласно возможности. Цветок, пристёгнутый в день свадьбы, пальмовая ветвь, принесённая в день воспоминаний мученичеств, венок бессмертников, брошенный через штыки на могилу невинных жертв, начали женскую борьбу, в которой более слабая половина оказалась сильной и равно горячей, как мужи. Была это сначала война песни, богослужений, цветов, платьев, символов, странного оружия народа, у которого всякое другое отобрали.

Эта борьба из выметенных силой улиц переносилась в костёлы, в синагоги, на кладбища, в дома; но не переставала. После тридцатилетнего ярма и безвластия москали не могли понять этого внезапного вызова к бою, глумились над ним, верящие в видимость своей силы; всё, что когда-либо рассказывали о силе духа, для них было потеряно, потому что дух у них никогда не входил в расчёт, привыкли управлять подкупом и страхом, видимости справедливости хватало, идеи закона ещё до сего дня не выработали в себе.

С 8 апреля до 22 января сколько фаз прошло это наше дело, сколько поглотило людей, сколько в ничто превратила теорий! Сперва боялись использовать слишком строгие меры, чтобы не раздражать Польши и не будить Европы, упрекали горстку возмутителей, сбрасывали вину на заговоры и революционный терроризм, но факты придавали словам ложь, выводили тысячи людей, а не могли эти горстки схватить. Нужно было свирепствовать над людьми всех состояний и конфессий, чтобы этих революционеров найти.

После правительства Горчакова, в котором, несмотря на бесчеловечные выстрелы в безоружных измученных старцев через его советников, было ещё много человеческого чувства и хоть немного стыда, короткое правительство Сухозанета⁹ вовсе смешно выглядело, ему совсем не везло, даже в его борьбе с Велипольским, впрочем, не имел он охоты серьёзно браться за дела, знал, что он тут временно и не надолго, для него речь шла о вытягивании как можно большего количества денег, не подвергая своей особы. Не было ничего более забавного и одновременно героического, чем празднование Люблинской унии, несмотря на чрезвычайный страх, какой тогда хотели бросить.

Геройство населения Варшавы иным образом, но равно великолепное, нарисовалось этого дня 2 марта. Войско стояло на всех площадях и улицах, заряженные пушки с зажжёнными фитилями, рядом с ними тянулся народ, весёлый, свободный, спокойный, украшенный в национальные цвета, улыбающийся весельем, светящийся победой.

Неприятель первый раз почувствовал себя бессильным рядом с мощью духа, запретили иллюминацию, но все дома внутри были ярко освещены, в окнах полно цветов и венков, из них звучала музыка. Более бедные женщины, которые, ходящие в принятом национальном трауре, уже даже цветных платьев не имели, пожертвовали в этот день элегантность долгу, надели старые, но яркие, чтобы ими согласную мысль всего народа выразить.

Полиция могла запретить трёх сплочённых народных королей, но как было прицепиться к трём девушкам, идущим друг с дружкой под руку, из которых одна была убрана в белый цвет, другая – в голубой, третья – в розовый?

Правительство так постоянно то уступало, то ударяло со всей силой, не получая пользы ни от поправки, которая усиливала дух, ни от суровости, которая поднимала его мощь. Видно, ещё колебались в Петербурге, что предпринять, после нескольких бесплодных попыток казалось, что отправка человека мягкого, как граф Ламберт, снисходительного, вроде бы либерального, могло приобрести правительству партию умеренных, на которую могло опереться.

⁹ Иван Онуфревич Сухозанет (1794–1871). Наместник Царства Польского.

Граф Ламберт, прибыв, хотел объясниться, попросил совета, вызвал к себе разных людей и обещал им множество красивых вещей, но когда наиболее умеренные письменно и устно дали ему почувствовать, как много было нужно, чтобы хоть наполовину удовлетворить желания народа, он усомнился, что справится с задачей. Рядом с ним стоящий Герштейнцвейг, который рассчитывал только на силу, а совсем забыл, что в его жилах текла польская кровь, приложился к выведению из строя как-то так настроенной машины. В течении всего правления Ламберта под прикрытием выборных прав, которые ещё вроде бы уважали, сила народной агитации сделала гигантский прогресс, улица стала театром давно не виденных сцен, снисходительность уже была непонятна тем, что не предчувствовали, что за неё ждало крадущееся насилие, высматривающее только свой час. Эта минута свободы при капельке безумия и опьянения была несравненного очарования. Все симптомы свободной жизни, от которой страна вполне отвыкла, пробовали выбиваться наверх, тайные печатные издания сыпались сотнями, ежедневно прибываемые на дверях костёлов приглашения на богослужение, отчётливо иллюстрированные, плакаты всевозможных цветов, трибуны, говорящие народу на улице, бурные городские выборы, всё это знаменовало пробуждение от сна, к которому уже укачать себя тихой, мягкой песенкой было невозможно.

Похороны архиепископа Фиялковского, на которых выступили эмблемы соединённых народов, деревенский пир в Европейском отеле, прощание прибывших по очереди и проезд их с хоругвями через Варшаву были окончательной датой. Началось такое же насильственное преследование, какой дивной была мягкость, окружили костёлы в день годовщины Костюшко, пало множество жертв, но рядом с ними Герштейнцвейг и Ламберт. Та ночь в соборе Святого Иоанна относится к самым великолепным картинам эпохи; было это что-то как бы из времени татарских наездов, насилие, неслыханное в цивилизованной Европе. Пьяное солдатство, оскорбляющее святыни, нападающее на женщин, эти часы ожидания смерти, проведённые при катафалке, в костёле, не поддаются описанию. Торжественное закрытие всех костёлов, которое потом наступило, снова подняло дух до высшей степени. Средство, которое должно было остановить, раздражило.

Русские уже должны были убедиться, что этими обычными маленькими способами совсем себе не помогут, но их умные власти ничего иного придумать не могли. Возвращались как те библейские создания к прошлым ошибкам, кружа в этом круге ошибок, из которого выйти не умели, единственным их универсальным средством всегда был штык.

Когда с их стороны слабость очевидна, народное дело ежедневно приобретает, укрепляется, набирает силу, отвергает всякий мир с неприятелем. Как раз в минуты, когда после этих событий, после преследований, после нового притеснения российское правительство решается на последнюю ещё попытку и высылает нам Телемака великих надежд с Ментором великого разума, мы начинаем вторую картину нашего романа.

Мы хотели хотя бы бегло обрисовать то значение событий, к которым в следующих повествованиях нам ещё придётся вернуться.

Наша героиня в течении этого времени не была бездействующей, вовлечённая во все работы, посвящённая в ориентацию дела, посвятила себя ему с тем упорством и полной своей жертвой, на какую только способны женщины. Во время, когда великий князь Константин въезжал через Прагу, приветствуемый неизвестно как собранной уличной толпой, у панны Ядвиги собралось несколько особ обычного её товарищества.

* * *

В течении какого-то времени Ядвига сдерживала обещание. Несмотря на мольбу боязливой тётки, которая не рада была, видя её выступающей с тех повседневных дорог, какими привыкли идти миллионные панны к прекрасному браку, племянница не изменила решение.

Брак, коий она заключила, в её мыслях связывал её так сильно, как если бы дала обет Богу перед алтарём, становясь монахиней. Она с улыбкой говорила, что принадлежит к ордену полек, говоря по правде, непризнанного апостольской столицей, не запертого в монастырские стены, но распространенного по всему пространству этой разорванной земли, в которой каждая частица тяготеет к давнему объединению. Несмотря на великий запал, а, может, в результате силы чувства, Ядвига сурово обдумала своё поведение. Когда встревоженная тётя почти на коленях удерживала её от более смелого шага, она отвечала ей с ясным челом:

— Моя дорогая мама, не бойся, любовь к родине, так, как я её чувствую и понимаю, есть самым лучшим щитом против всех опасностей света, она вынуждает к старанию о всех добродетелях, к отречению от всякого непостоянства, потому что малейшее пятнышко на одежде защитницы страны отразится и на могильном саване матери, и на триумфальном облачении воскрешения. В чём же мы виноваты, что должны в тишине, мраке, как первые христиане в катакомбах, работать на возрождение родины? И этих первых христиан, и наше дело обернут в тайну, будут порочить и презирать, но кто посвятит себя родине и вступит на порог самоотречения, тот одежду грешника должен бросить на пороге! Правда, дорогая тётя, что наш орден осуждает много вещей, которым мир потакает или аплодирует, но мир — это старичок-неудачник, которому лишь бы тихо, тепло было и спокойно, готов чёрное белым называть.

Так говорила Ядвига и так поступала.

Тридцатилетнее спокойствие и страшное моральное угнетение отразились и в обществе. Более мягкие, поддаваясь насилию, постепенно сближались с русскими, устыдившись, позволяли угадывать в себе Валленродов; между народом и верными его детьми и преследователями, с теми, коих сумели притянуть к себе, завязались такие отношения, что непрерывная цепь разнообразных оттенков объединяла самых фанатичных преследователей с наиболее горячими их врагами.

Встречались в нейтральных салонах, говорили о вещах безразличных, знакомились, бывали друг у друга и взаимно проявляли толерантность. Публичное мнение притеснением и принуждением объясняло некоторые слабости, наиболее подлые, продажные в некоторых общественных кругах покупали его каким-нибудь нескладным предательством, якобы любовью к родине.

Неожиданно с того съезда монархов в Варшаве, который дал знак пробуждения, нужно было всем выбирать и быть с родиной или против родины. Очень недоумевали те, которые в течении двадцати лет безнаказанно ездили на балы в замок, когда в их кареты попадали осуждающие камни! С этой минуты, хотя много осталось бесцветных слонов и двухцветных людей, всё сильнее вырисовывались партии и убеждения. Мы не хотели видеть их здесь больше, чем две, то есть предателей и верных детей, может, было их больше, но посередине стояли толпы язычников, как их называла панна Ядвига, которые было нужно обращать. А эти язычники были всевозможного рода, в груди идолопоклонников — верное чувство к родине, но с ним боролась то любовь к золоту, то привязанность к какой-то такой власти, то страх революции, то боязливость и непостоянство.

Салон Ядвиги и через её фамильные связи и как наследницы миллионов, был, естественно, открыт для множества особ, которые, не будучи ни красными, ни белыми, ходили пепельными. Ядвига этих серых и холодных принималась обращать, сделала себе из этого задачу. Не избегала, поэтому ни тех домов, в которых на всё тогдашнее оживление потихоньку ворчали, не закрывала дверей своих перед теми, что грешили равнодушием. Её достойное сердце с по-настоящему благородным христианским чувством верило в обращение всех аж до палача, который вешал, и судьи, что подписывал приговоры.

– Это есть только делом времени, – говорила она, – однако же, от маленького пламени разгорается великий огонь, сухие же ветки загораются скорее, когда сырые ещё сохнут, в конце концов, и те мокрые и скользкие люди, что сегодня только шипят, должны загореться.

С этой глубокой верой она шла, неизменная, своей дорогой, хоть часто в её салоне встречались самые противоречивые элементы. С женским тактом она умела вести это дело обращения, не обижая никого. Иногда её притормаживали, шепча ей, что те, которых собиравалась обратить, были прямо противоположных мнений.

– Значит, тем лучше, – отвечала она, – как раз для этого нужно работать, чтобы их обратить. Если бы мы смотрели на противоположные мнения с холодным отказом, мы бы или противоречили великой возможности обращения или признавались бы в слабости наших убеждений. Нужно уметь признавать свою веру публично.

В этот день общество было довольно многочисленным и, как обычно во время чая, который тянулся от семи до одиннадцати, одни входили, другие выходили и возвращались, принося какую-нибудь новость или сдавая отчёт в поручении.

Ядвига с большей частью Варшавы была убеждена, что столица во время въезда великого князя будет держать себя с достоинством, что не даст ему фальшивого представления о состоянии умов угнетённой толпы, и ничем, что в это время могло быть принято за энтузиазм. Чтобы не обманывать прибывающего и не вводить его в заблуждение тем, что сам его приезд нас осчастливил, нужно было принимать его без признаков пренебрежения, но и без радости. Велико было удивление всех, когда узнали, что какой-то таинственной силой собравшееся на Праге простонародье приняло князя великими криками, что какие-то незнакомые субъекты вышли из-под земли, цеплялись к каретам, гонялись за ними, восклицая: «Ура!» Всё это было так не по-польски, так явно подделанное, такое унижающее весь народ, что каждый почувствовал себя обиженным. Маркграф, который известными ему средствами приготавливал эти овации, в некоторой степени вынудил к энергичному протесту против них, был это фальшивый шаг и тяжкие потянул за собой последствия.

Салон панны Ядвиги, наполненный множеством людей, был разделён во мнениях насчёт будущего поведения: Ментора или Телемака. Все паньчи и то, что принадлежало к так называемому хорошему обществу, сильно настаивали на примирении с русскими, которые, очевидно, льстили себе, речь шла только о том, куда их поцеловать. За исключением Маркграфа, к которому было всеобщее отвращение, новые урядники, которых привёз великий князь, пробуждали надежду и по крайней мере не были ненавистными; отсюда люди порядка, то есть те, что презирали революцию, найдя новую возможную комбинацию, резко за неё цеплялись.

Граф Альберт, Эдвард, Мицио, Дунио и несколько иных представляли среди молодёжи тот элемент, желающий тишины и покоя на отцовском лоне Маркграфа. Кароль, товарищ его Млот, известный нам из первого романа, и их приятели открыто смеялись над надеждами тех, предсказывая их падение.

Ядвига, принадлежа сердцем к последним, не хотела порывать с первыми, всегда в надежде обращения.

– Что до меня, – отвечала она на вопрос Кароля, – я думаю смело войти даже в покои Маркграфа, как христиане входили на двор Нерона, чтобы там делать неофитов. В большой толпе, которая его окружает, ты признаёшь, пан, что я имею право надеется найти больше всего слабых людей. Уже одно то, что в эту новую комбинацию могут верить, доказывает их слабость, а поэтому улов мне может удасться. Маркграф, которому люди, желающие мира, делают гигантскую славу государственного мужа, уже имел время убедить нас, что им не является. Все его выступления, рассчитанные на великий эффект, были неудачные и цели не достигли. Это есть Дон Кихот силы, который только о том заботится, чтобы за ним признали такую широкую энергию, какие широкие имеет плечи.

– Не годится так говорить, – прервал Альберт, который приблизился к беседующим, – всё-таки Маркграф есть последней пробой, которую чинят русские, с отвращением используя его посредником для примирения; если он падёт, придёт после него обнажённый московский кнут в руке казака.

– Тем лучше, – живо отпарировала Ядвига, – мы выиграем на том, если они сбросят маску, прежде всего, мы приобретём морально. Маркграф с ними – это деспотизм, убранный в законные формы, которые баламутят мнение Европы. Объявляют нас неисправимым народом революционеров, не ведающим, чего хочет, всем неудовлетворённым, а русских – защитниками законного порядка. Вынудить их сбросить эту фальшивую одежду, дабы обнажить их татарскую шкуру, из которой вовсе не выжили, есть чистым выгодой для нашего дела. Маркграф – это ширма, заслоняющая правду. Наше святое дело должно желать ясности.

– Но, – прибавил Альберт, – будем логичными, это всегда в итоге революция...

– Ежели нас к этому вынудят, – сказала Ядвига, – а, может, только борьба и героический подъём сил духа с силой кулака.

– Что мы сами придём к революции, – добавил Альберт, – это не подлежит сомнению. Мы на склоне, который к ней ведёт... не знаю, сумеем ли мы уже остановиться.

– Я это не отрицаю, – сказал Кароль.

– И я, – добросила Ядвига, – грустная вещь – каждая такая социальная встряска, но неизбежная. Кто не хочет революции, тот должен принять и распадающуюся нашу родину такой, какая есть, и российское правление на веки веков.

– Прошу прощения, пани, – прервал Альберт, – я не принимаю, но допускаю революцию, только не сейчас.

– Значит, это для вас вопрос времени? – сказал Кароль. – И я не скажу, чтобы минута очень ей способствовала, но, подумайте, пан, что завтра, через год, спустя десять лет найдём ли мы более подходящую? Россия, наученная сегодняшним движением, отберёт у нас для неё все средства, сломает дух, смягчит сердца, сделает женоподобными будущие поколения.

Альберт молчал. А Ядвига с улыбкой добавила:

– Мы не боимся, мученичество имеет свои наслаждения, а лучше умереть мучеником, чем опустившимся. Дать себя поглотить той туше варваров, это святотатство – отречься от своего будущего, всего труда веков, тысячелетний работы предков, это отступить в тыл и отречься от себя.

– Ещё слово, – произнёс Альберт, – горстка греков преимущественно повлияла на цивилизацию миллионов римлян, почему бы мы не могли полонизировать Россию?

– Мой граф, – проговорила Ядвига, – эта горстка греков была как капля дорогого нектара, влитая в большой сосуд с водой, на мгновение её вода приняла аромат, но капля исчезла и растворилась навеки... вы хотели бы для нас этой судьбы?

Млот, который беспокойно прислушивался к разговору, такой отчётливый бросил взгляд на панну Ядвигу, что та в итоге поняла, что у него дело идёт о чём-то более срочном, чем дело обращения.

Оставляя, поэтому графа Альберта с Каролем на дальнейший разговор, она одна выскользнула и, очень ловко кружа, подошла к молодому парню, ожидающему её с видимым нетерпением.

– Имеете, что поручить мне? – спросила она потихоньку.

– Ничего для поручения, но просьбу о совете, дело идёт о Кароле...

Панна Ядвига несколько зарумянилась, но Млот этого не заметил.

– Мы привыкли, – сказал он шутливо, – считать его нашим товарищем и пособником по работе, поэтому я скажу вам искренне, что я испуган, хотя бояться не привык. Кароль так нам нужен, что мы бы предпочли потерять десятерых избранных, чем его одного, никто

его заменить не сумеет; это человек железный и в то же время самый мягкий из нас, когда мы имеем дело с профанами, разрезает как заострённая сталь без боли, не почувствуешь, как твоё сердце распадётся на части. Таких нам людей нужно, а, к сожалению, мы можем его потерять.

– Как это? – крикнула Ядвига. – Что ему угрожает? Он такой осторожный.

– Он не столь осторожен, как мы его оберегаем, но сложились странные обстоятельства. В начале предприятия мы не видели так ясно, не отличали друзей от недругов, говорили с разным людьми, которые, казалось, имеют какое-то чувство к родине; тем временем несколько из них перешло в неприятельский лагерь. Мы с уверенностью знаем, что один из тех людей подал Маркграфу письмо с особами, которые могут иметь наибольшее влияние. Старались их привлечь на свою сторону, некоторые поддались, Кароля признали непобедимым, я точно знаю, что на этих днях под каким-то самым простым предлогом его посадят в цитадель.

– Тихо! Тихо! – воскликнула встревоженная Ядвига, беря Млота за руку. – Нужно ему дать денег и устроить побег.

– Прошу прощения, пани, – сказал Млот, – он может быть полезным за границей, но никто не заменит его в Варшаве, нужно подумать, где и как его укрыть. Наши схоронения не слишком надёжны, прошу, пани, о совете и помощи.

– Послушай, пан, – отозвалась Ядвига после минуты раздумья. – У меня есть мысль. Нужно добыть одного из тех панычей штурмом глаз, лаской, улыбкой, и вынудить его, чтобы укрыл Кароля. Те паны все верно посещают салон Маркграфа, никто их не заподозрит, Кароль будет в безопасности.

– Но, Боже мой, кто же поручится за опекуна?

– Но я, я! – шепнула Ядвига. – Я!

– Позволь, пани, признать, что эти проекты слишком смелые.

– Значит, что же предпринять? – немного заколебавшись, сказала женщина, но вскоре с новой силой вернулась к своей мысли. – Дай мне, пан, четверть часа, – сказала она, – придержи здесь Кароля; ты не будешь отрицать, что граф Альберт, человек честный, имеет тот недостаток, что слишком граф и, кроме того, экономист, пойду с ним в другой покой и приведу его вам готового на всё. Он, должно быть, наверное, какой-нибудь кузен Маркграфа, графы и маркграфы все родственники, у него Кароля искать не будет: между тем я поеду в Брюловский дворец и потребую там, чтобы Кароля не трогали.

– Как это, пани? – спросил Млот недоверчиво.

– Ты веришь мне?

– Больше чем себе.

– Теперь другой вопрос: веришь ли, пан, в меня?

– Я ещё не видел, чтобы вы совершили чудо, но когда захотите! Кто знает?

– Ты, по крайней мере, знаешь, что я не предаю, и дело, за которое берусь, не испорчу; ты позволяешь мне попробовать с графом Альбертом?

– Полагаю, что следовало бы спросить Кароля, но нужно бы ему всё рассказать.

– Мне кажется, что, говоря с ним открыто, не испугаешь его, пан.

В эти минуты Ядвига увидела, что Альберт брал шляпу, и задержала его от ухода одним словом.

– Остайся, пан, мне необходимо с тобой поговорить.

Тем временем Млот отошёл с приятелем в сторону и начал с ним живую беседу. Кароль отскочил от него и побежал к Ядвиге. На лице молодого человека рисовалось наивысшее беспокойство.

– Ради Бога, заклиная, пани, – сказал он с самым большим запалом, – прошу забыть о том, что Млот ей поверил; никакой опасности нет, у меня есть двадцать самых отличных

укрытый в случае необходимости, в течении нескольких месяцев никогда не ночую дома, я спокоен и умоляю вас, пани, чтобы меня под опеку графа не отдавали. Это был бы также вид ареста, в котором научился бы, может, политической экономике, но умер бы от скуки. Не хочу и не могу.

В красивых глазах Ядвиги блеснула слеза, которая растаяла где-то под веками.

– Ты бы напрасно меня успокаивал, я не могу быть за тебя спокойной, ты слишком дерзкий. Смилуйся, пан, подумай о себе или разреши, чтобы твои друзья о тебе подумали.

Тут она явно смешалась, голос её изменился и слов не хватило; Кароль заметил волнение, это не был первый признак чувства с её стороны, но честный парень, ступая на порог этого дома, предвидел опасность и поклялся, что ей не поддастся. Он был слишком гордым, чтобы тянуться за сердцем женщины, оправленным в такую дорогую золотую раму, знал, что Ядвига быть его женой не может, запретил, поэтому, себе её любить. Это решение, исходившее из благородной гордости, не защитило его от смертельной любви к Ядвиге, но любовь эту погребал в сердце, как в гробу, и также заботливо её скрывал, как иные ею рисовались. Боясь невольно её не выдать, Кароль старался быть не только холодным, часто был резким и пренебрегающим. Входил обычно в салон, защитившись самыми торжественными решениями холодного и резкого поведения, но вскоре влияние Ядвиги смягчило его, прояснило лицо, открыло уста и вынудило забыть о себе. Часто в течении беседы поддаваясь двум противоположным чувствам, доходил вдруг до странно кажущейся жёсткости. Тогда глаза Ядвиги, уставленные в него с удивлением, смущали его и направляли в одинаково необъяснимую весёлость. Эта добродушная неловкость человека, который не умел играть комедию, не могла уйти от глаз женщины, Ядвига, скорей, догадалась, чем узнала.

В этот раз Кароль признал правильным быть с Ядвигой почти невежливым, на её умоляющие слова отвечал живо и жёстко:

– Не опекайте меня, пани, умоляю и прошу! Что сегодня значит один человек по отношению к обществу, следует ли обо мне думать, когда нас каждый день к жертвам призывает родина? Я признаюсь, что мне даже неприятно, что так защитился от случая, который каждый день может встретить тысячи более достойных. Прошу, пани, ни слова о том.

Ядвига зарумянилась, но привыкла к подобным странностям, отвечала почти с покорностью, подавая ему руку:

– Извини меня и позволь дружбе быть такой горячей, как должна.

Кароль в свою очередь устыдился своего поведения и на его глаза навернулись слёзы, но прежде чем имел время произнести, к Ядвиге подошёл слуга с таинственной миной и шепнул ей, что какой-то солдат ждёт её в сенях.

Под московским правительством достаточно мундиров, чтобы людей пугать; эти защитники родины есть, наверное, более грозные в собственной стране, чем в отношении к неприятелю.

Само упоминание о солдате в минуты, когда ей дали знать об опасности Кароля, ужасало, не могла только понять, почему этот солдат хотел с ней увидеться.

Она живо выбежала и нашла в сенях худого человека, одетого в серый солдатский плащ, с болезнью, выступившей на лице. Он несколько раз ей поклонился, а Ядвига ещё этого понять не могла, только когда он начал говорить, она узнала его по голосу.

Был это Томашек, бывший дворский паробок, взятый в войска по принуждению с последним набором, о котором с той поры слышно не было.

Это тот страшный налог кровью, когда детей отбирают у матерей, мужей у жён, у детей отцов, но когда его простой человек, не понимающий святого долга, оплачивает собственной землёй, имеет хоть то утешение, что её грудью заслонит.

Что же, когда пришелец уводит народ, чтобы истощить страну, когда каждый, ими схваченный, знает, что идёт на смерть, что к своим не вернётся или придёт хромящим стар-

цем, когда их могилы порастут дёрном. Что же должно происходить в душе тех людей, когда им оглашают тот приговор, такой же страшный, как этот: *Идите, осуждённые на вечный огонь!* Сколько же должны были сойти с ума, сколько умирать от тоски, а сколько засохнуть от отчаяния! С воспоминаниями этой покинутой родимой хатки, в служении ненавистным людям, голоде и нужде, что это за доля изгнанников!

И бедный Томашек принадлежал к этим мученикам московской тирании и он, пожелтевший и побледневший, служил где-то за Волгой, скучая по Мазовии. Перебрасываемый из лазарета в лазарет, из полка в полк, наконец попал в тот, который нёс службу в Варшаве. Неоднократно всё, что в душе начало зарастать плесенью, в ней резко ожило. Молчаливый, ошеломлённый он ступил на эту землю, на которой родился, аромат которой, краски, звуки, всё напоминало ему его молодость. Уже из наполовину сломленного солдатской жизнью человека-машины достойный мазур снова сделался грустным и счастливым. Ничего не понимал, что делалось вокруг него, но после тех церквей, измазанных дикими красками, после тех индуистских пагод серые костельчики показались ему восхитительными, он плакал под всеми крестами, которые встречал по дороге, каждый тёмный облик Божьей Матери Ченстоховской напоминал ему хату, в которой висел подобный образок. И на его груди, ещё семьёй повешенное в колыбели, дрожало такое же изображение. Дабы не выдать себя, бедняга молчал среди товарищей-русских, но когда его не видели, здоровался со своей землёй, целуя её и горстями прикладывая к страдающему сердцу. Томашек, может, в результате болезни и изнеможения был чрезвычайно жалок, вспоминал и панский двор, на котором ему было так хорошо, и маленькую панинку, которая им делала полдник. Настоящей удачей он узнал, что панинка с тёткой живут в Варшаве, и воспользовался первым позволением отлучиться, чтобы напомнить им о себе.

— А! Вы меня не узнали, панинка, — сказал он ломанным языком, — но это правда, много лет, как меня русским сделали! А это я, Томашек Чуприна, что был паробком в усадьбе в Залесье...

— Что же тут делаешь? — с удивлением воскликнула Ядвига.

— А что ж? Куда солдата толкнут, туда и идёт, человек своей воли не имеет, прикажут есть, тогда ест, прикажут спать, тогда спит, а стрелять, тогда стреляет. Приказали мне с полком в Варшаву прибыть, в цитадель, вот и притащился.

— Давно?

— Эх! Уже несколько недель, но я и не ведал, что паника тут есть, и не очень нас выпускают, потому что эта служба — та же неволя.

Не зная, что с ним делать, Ядвига, как-то странно взволнованная видом исхудавшего человека, ввела его за собой в салон, чтобы напомнить тётке.

Она нашла её также уже в дверях, несмотря на тяжесть, идущую узнать, какой там солдат её звал. Тётка гораздо лучше себе припоминала Томашка, его матушку, бедную коморницу, которая пряла в усадьбе, дядю, который какое-то время был смотрителем. Томашек аж заплакал, слыша о своих. Ядвига принесла ему чашку чая, а всё общество обступило солдата, слушая его красноречивые вздохи и нескладные выражения. Паробок, который не ожидал такого приёма, был сердечный и приветствовал своих, как потерянную семью. Ядвиге сразу блеснула мысль, чтобы его обратить и использовать как инструмент обращения. Была, поэтому, чрезвычайно заботлива с ним, расспрашивала его о здоровье, напоминала ему, как их лечили в усадьбе, и сильно рекомендовала, чтобы часто к ним приходил.

— Если бы я мог, — отвечал Томашек, — но, панинка, хоть мы там других заключённых охраняем, сами словно невольники; выйти из цитадели, упаси Боже, не разрешено, пожалуй, только с позволения и с письмом коменданта, а ещё, так как докопались, что я поляк, то на меня глаза обратили, как на предателя, и тут с поляками не вольно ни в какую дружбу вдаваться, приказали быть бдительным, а даже следить за панами офицерами, чтобы они ни

в какие сговоры не входили. Когда раз в неделю разрешают человеку вылезти в город, то ещё великое счастье!

— Значит, хоть раз в неделю ты можешь к нам прийти, — сказала Ядвига, — по крайней мере, ты бы тут у нас лучше подкрепился.

— А! Прошу, панинка, — сказал, вздыхая, солдат, — если бы вы видели, кушая белые булки, чем мы не раз, бедные, живём. Хлеб затхлый и плесневелый, выпеченный из горькой муки, немного тёплой воды, в которой крупа плавает, иногда твёрдый сухарь, иногда сырой картофель, а человек живёт, потому что должен; как его стиснет голод, водка кормит, когда нет воды, водка поит, когда больной, водочкой лечится, когда у него сердце трещит, то ею память заливают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.